ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА | 5

# Кирилл Померанцев

# СКВОЗЬ СМЕРТЬ

## Воспоминания

OPI

# СКВОЗЬ СМЕРТЬ
## Воспоминания

Kiril Pomerantsev

# Literary and Political Reminiscences

WITH AN INTRODUCTION

BY BORIS FILIPOFF

Overseas Publications Interchange Ltd

Кирилл Померанцев

# СКВОЗЬ СМЕРТЬ

## Воспоминания

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

БОРИСА ФИЛИППОВА

Overseas Publications Interchange Ltd

Kiril Pomerantsev: SKVOZ' SMERT'. Vospominaniia.
With an introduction by Boris Filipoff

First Russian edition published in 1986
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England



**ISBN 0 903868 64 4**

Cover design by M. A. Pióro

Printed in West Germany

## О МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВООБЩЕ И О ВОСПОМИНАНИЯХ КИРИЛЛА ПОМЕРАНЦЕВА

*Воспоминание безмолвно предо мной*
*Свой длинный развивает свиток...*

*А. С. Пушкин*

Книга воспоминаний Кирилла Померанцева – книга, насыщенная большим и интереснейшим материалом. Воспоминания бывают воспоминаниями о своей собственной жизни, и тогда лица, встреченные на жизненном пути мемуариста, рисуются только лишь как более или менее случайные эпизоды его жизни. Но бывают и воспоминания именно об этих встречах на дороге жизни, – и мемуарист пишет именно об этих встречах – и только о них. Такова и книга Кирилла Померанцева. Сколько в ней хорошо написанных портретов! И портретов лиц, так или иначе, в большей или в меньшей степени, но игравших роль в русской культуре и в жизни русской эмиграции, эмиграции парижской. Поэтому воспоминания Кирилла Померанцева являются важным дополне-

нием и к монументальной „апологии эмиграции" Романа Гуля – „Я унес Россию", и к истории русской культуры последних шести десятилетий. Но могут ли вообще воспоминания сколько-либо объективно рисовать это прошлое? На первый взгляд это представляется весьма сомнительным. Взвесим же все „за" и „против" мемуаров, как источника наших знаний о прошлом.

Возможны ли воспоминания как нечто хотя бы относительно независимое от личности воспоминающего, как нечто бескорыстное – в смысле хотя бы некой незаинтересованности нашего сознания в освещении прошлого? Да только ли прошлого! Можем ли мы говорить и о себе, и о других правду, чистую, беспримесную правду, и больше того, независимую от нашей способности видеть и воспринимать?

Рюрик Ивнев вспоминает: когда Есенин, смеясь над обычным парадоксализмом Клюева, заметил, что Клюев, как правило, „ни одного правдивого слова не скажет", большой умник и даровитейший олонецкий поэт, хитро сощурившись, проокал: „Ну, ну, а правда-то какая? Какая правда? Скажи, а? Ты ее видел, да? Щупал? Трогал? Что она – как девкина грудь или как бычий хвост?"

Ну, а писать о наших жизненных встречах, эти воспоминания о других – разве легче, чем воспоминания о себе самом, в которых (это уж самоочевидно!) наша память всегда склонна обелять самого себя?.. Правда, Пушкин писал:

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Но мы-то смываем эти строки – и как еще тщательно смываем! Думается, что и сам Пушкин, если в светлой точке своего сознания и не стремился эти строки смывать, то подсознательно все же смывал... А о других... Вот Герберт Уэллс говорил, что „биографию человека должен писать его заклятый враг", – ибо ведь зло и порочное своего ближнего мы

помним (да и видим) куда крепче и дольше, чем то, чем этот наш ближний был хорош. Наша память всегда корыстна и отбирает из прошлого то, что ей на потребу, а видеть чужое доброе – чаще всего нам самим не слишком-то по душе. Вот и у писателей всегда выпуклее, ярче и живее обрисованы именно отрицательные персонажи, а положительные чаще всего картонные манекены. Даже у гениев. Исключения редки, как младенец с двумя сердцами. Может быть, о близких друзьях мы помним добрее? Но вот тот же Николай Клюев возражал Рюрику Ивневу: „Чем больше друзей, тем страшнее". И когда Ивнев хотел оспаривать этот „парадокс" – ты, мол, всегда Николай Алексеевич, что-нибудь придумываешь, – Клюев махал рукой: „А что тут придумывать, когда все уже без меня придумано и обдумано".

Если возразят, скажут, что, говоря о неизбежной необъективности мемуарной литературы, цитируется, в виде доказательств, опять-таки мемуарная проза, то невольно пожмешь плечами: что поделаешь, – ведь вся наша жизнь и вся наша действительность, все наше сознание и все наше знание – только цепь неизбывных парадоксов и компромиссов. Ведь и само наше восприятие реальности таково: наше сознание воспринимает лишь то, что оно *хочет* воспринять. И, по словам Канта, природа сама не говорит нам ничего: она только отвечает на задаваемые вопросы. Ну, и отвечает чаще всего по нашей же подсказке. Так что же – отказаться на этом основании от всякого познания? Раз, по словам того же Клюева, нельзя нащупать подлинную и беспримесную правду, то и не искать ее? И не вспоминать – и совсем не верить памяти, раз она так или иначе не бескорыстна? Но ведь жить и не вспоминать – это и невозможно, да и грешно: нельзя же жить только лишь настоящим, да при этом только настоящим своим. Может статься, даже сплетничество чем-то лучше, чем такой самозамкнутый, накрепко застегнутый на все пуговицы эгоцентризм: все-таки, даже в сплетничестве какое-то, пусть и порочное, но преодоление самовлюбленной самозамкнутости.

Да и можно ли отказаться от мемуаров? Один из тех, кого вспоминает в своей книге Кирилл Померанцев, Юрий Анненков, предваряет свою книгу „Дневник моих встреч" словами: „Мы все еще, разумеется, молоды: кому – 50, кому – 60, кому – за 70. Единственный груз, который начинает нас тяготить, это – груз воспоминаний. Когда воспоминания становятся слишком обременительными, мы сбрасываем их по дороге. ...Однако бывают воспоминания, которые не только внешне отлагаются на поверхности нашей памяти, загромождая ее, но органически дополняют и обогащают нашу личную жизнь... Их мы не отдаем и не отбрасываем, мы только делимся ими". Это, чаще всего, воспоминания о тех людях, какие, если и не являются сами по себе большими людьми, гениями, святыми, то, во всяком случае, сыграли заметную роль в нашей жизни – или значительную роль в жизни и культуре нашего народа, нашей страны. Вот и воспоминания Кирилла Померанцева – это воспоминания преимущественно о писателях.

Но ведь писать о писателях – это почти всегда чуть ли не наибольшее искажение действительности, так называемой действительности, да еще, так сказать, искажение „двойным хлюстом". Ведь говорить о литераторе – и не учитывать его творчество – невозможно. А писатель пишет о себе, даже когда как будто пишет о своих персонажах, всегда перемешивая свое и наблюденное у других, даже просто выдуманное, и все это неразрывно и неслиянно неизбежно входит в его, им самим творимую, личность. Так, Дос-Пассос писал своему предполагаемому биографу: „Создание биографии писателя – это задача совершенно неосуществимая. Писатель склонен описывать в своих произведениях все, что с ним происходит в жизни, но часто в искаженном или переделанном виде, так что для биографии ничего не остается". Весь автобиографический сырой материал так основательно творчески перемалывается, искажается, разбавляется вымыслом, разукрашивается домыслами и примыслами, что и самому-то писателю становится невмоготу разобраться, что здесь, так сказать, „документальная" правда, а что творческий вы-

мысел. Сказать же правду *о самом себе* – о, это непосильная задача. И сам, например, Гоголь, уж на что любил он каяться и сетовать (не без уничижения паче гордости) о своих прегрешениях, все-таки все свои пороки и все свое смешное предпочитал передавать своим литературным персонажам – и сам писал об этом (говоря современным фрейдовским языком, в целях исповеднического самоизлечения). „Я уже, – писал он, – от многих с в о и х недостатков избавился тем, что п е р е д а л их своим героям, их осмеял в них”... Вот они, эти недостатки автора, эти его достойные осмеяния свойства, так и живы, так трепетно живы в гротескных образах его отрицательных героев. Ну, а его идеальные персонажи, – в лучшем случае, из вывесочно размалеванной жести. Но следует ли из этого делать обязательное заключение, что даже вымышленную биографию писателя должен непременно писать враг этого писателя?

А не кажется ли вам, что в той смеси „правды” и „вымысла” все-таки много больше какой-то подлинной правды жизни, чем в якобы „объективном”, якобы „документальном” жизнеописании? Ведь именно в этом смысл пушкинских строк: „Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман”. Ведь здесь наш умнейший поэт имеет в виду, что творческий вымысел лучше и вернее отражает саму суть, саму и д е ю вещи, чем пустотелая „чистая фактология”. Да и существует ли так называемый „голый факт”? Ведь все решительно зависит от нашего взгляда и от того настроя души, какой сопутствует в данный момент и в данных обстоятельствах нашему видению. Вот, скажем, и Гончаров, и Достоевский в равной степени ненавидели Тургенева. Но Кармазинов – в „Бесах” – при всей его окарикатуренности – живая, яркая, художественно полноценная личность, как нам кажется, и более близкая к р е а л ь н о м у Тургеневу, чем Тургенев в „документальной” „Необыкновенной истории” Гончарова. В ней Гончаров нарисовал Тургенева настолько мертвенно-схематично, что эту злую вещь трудно дочитать до конца, и Тургенева в ней не видишь... А ведь „документально” установлено, что Гончаров был во многом прав

в своей хуле на Тургенева. Но живого Тургенева в его „Необыкновенной истории" нет и нет.

Что же – нужно нам отказаться от писания воспоминаний – как о себе, так и о наших жизненных встречах? Читателям же отказаться от чтения мемуарной литературы? А ведь современный читатель как раз явно предпочитает романам и повестям именно воспоминания. И воспоминания пользуются у него гораздо большим успехом, нежели литература художественного вымысла. Нет, конечно. Как мы уже говорили, не только в искусстве, но и в науке все и вся воспринимается всегда чрезвычайно субъективно, да еще в разном возрасте, в разное время и в разном настроении. И наложение друг на друга разных восприятий одного и того же явления только способствует нашему познанию многообразия действительности.

Вспоминается старый средневековый рассказ о двух рыцарях, повстречавшихся в дороге у ворот замка, на воротах которого, на копье, висел щит владельца.

– Какой пленительный щит – такого небесно-голубого цвета я еще никогда в жизни не встречал, – воскликнул рыцарь, ехавший с севера.

– Вы издеваетесь надо мной?! – возмутился рыцарь, ехавший с юга. – Этот щит желтый, как желчь!

Готова уже была вспыхнуть битва между странствующими рыцарями, но из башенных ворот замка вышел кастеллян, сказавший, что спорить и ссориться нет никаких оснований: щит с одной стороны синий, а с другой – желтый.

Вот и воспоминания об одном и том же лице или событии разных мемуаристов, дополняя друг друга, ежели и не исправляют, то, во всяком случае, помогают нам видеть эти лица и события с разных сторон и разно оцениваемыми.

Так, о талантливом поэте и своеобычном человеке Юрии Одарченко, скажем, Кирилл Померанцев писал, что поэт настолько освоился со всякой низкочиновной нечистью – мелкими бесятами, затрапезными домовыми, оборотнями и провинциальными вампирами, нежитью не выше капральского звания, что просто нет-нет, да и отмахивался от этой

нежити, как от назойливых мух (предисловие Померанцева к книге стихов и прозы Одарченко). И в поэзии, и в прозе, дескать, Одарченко эта нежить настолько обыденна и не страшна, что поэт обращался с нею запанибрата. Для антропософа и очень доброго и благожелательного ко всем Померанцева дело обстоит именно так. А вот другой хороший знакомый покойного Одарченко, тоже ныне покойный, рассказывал мне, что поэт был всецело одержим злою силой – и никак не мог, да и *не хотел* избавиться от этой своей темной одержимости. И, в доказательство своей правоты, цитировал прозу и стихи Одарченко, например, такие:

Стали подниматься на ступени
Душ обезображенные тени:
Жабы, крабы, змеи, попугаи,
Пауков подслеповатых стаи...
... И за ними черные монахи
По ступеням солнечным все выше...

– Экая бесовщина! Чистый Иероним Босх! И все у Одарченко в этом духе. Даже муза у него только тем и занимается, что гадает на кофейной гуще! У него и „луну волки съели, и не на что больше выть”!

Кирилл Померанцев относится как раз к разряду весьма редких *добрых* мемуаристов. Он смело мог бы повторить слова Станиславского, советовавшего актерам: чтобы правдиво сыграть злого, найди – где он добрый. И почему обязательно следовать Уэллсу (который и сам не был добрым), советовавшему поручать биографии только врагам людей, о которых биографии пишутся? Только потому, что мы, люди, легче видим и ярче изображаем порочное, уродливое, глупое?

Вот, скажем, вспоминает Померанцев весьма плохого писателя и, мягко выражаясь, мало привлекательного нравственно человека – Крымова. И рисует, отнюдь его морально не выгораживая, отнюдь его не идеализируя, но тепло и дружелюбно. А вот тоже в общем благожелательный мемуа-

рист, Роман Гуль во втором томе своих мемуаров „Я унес Россию" рисует Крымова весьма нелестно. В частности, повествует, как однажды Крымов, „подвыпивши за ужином", рассказал о себе, приписывая, конечно, это другим сотрудникам „Нового Времени": „'А знаете, как нововременские журналисты делали деньги?' Но откуда нам, 'интеллигентам-пролетариям', это знать? И Крымов рассказал (конечно, 'не про себя', 'упаси Боже!') : – 'Вот узнает журналист, что у такого-то банка дела плоховаты или 'рыльце в пушку', садится и пишет об этом статью, отдает в набор и с гранками едет в банк к директору. Ясно, что директор журналиста из 'Нового Времени' принимает. Журналист 'с сочувствием' говорит директору, что хочет предупредить его, какую статью получило 'Новое Время', и что печатание ее надо как-то 'предупредить'. Директор не дурак, знает, что нужно сделать для 'предупреждения' и дает журналисту 'известную сумму'. А тот, приехав в типографию, приказывает рассыпать набор этих гранок, а гранки уничтожает".

Делал Крымов – и в эмиграции тоже – дела и похуже. Но разве в человеке, любом человеке, только злое и порочное начало? И разве по-своему не правдив и более благожелательный портрет Крымова, написанный снисходительным и благожелательным Кириллом Померанцевым? Прав и Гуль, прав и Померанцев. Думается, правы оба, только смотрели они на Крымова – один с синей, а другой с желто-желчной стороны. Как и каждый человек, был Крымов далеко не однозначным: всякое было в нем, как и в каждом человеке. Как говаривал Лука у Горького: „Всяка блоха не плоха, всяка кругленька, всяка скачет"...

Вот и Георгий Иванов у Померанцева много сложнее, много сильнее и талантливее, чем, скажем, у Блока. Александр Блок пишет про него, что „эпоха создала из него нечто удивительное и непонятное. Когда я принимаюсь за чтение стихов Г. Иванова, я неизменно встречаюсь с хорошими, почти безукоризненными по форме стихами, с умом и вкусом, с большой культурной смекалкой...". Однако Блоку совсем непонятно, чего же хочет в своем творчестве Георгий

Иванов? — „Ничего. Он спрятался сам от себя, а хуже всего было лишь то, что, мне кажется, не сам он спрятался, а его куда-то спрятала жизнь, и сам он не знает куда. В стихах каждого поэта 9/10, может быть, принадлежит не ему, а среде, эпохе, ветру, но 1/10 — все-таки от личности. Здесь же как будто вовсе нет личности”... Но, конечно, это — впечатление Блока, записанное в 1919 году, а Кирилл Померанцев писал свои воспоминания не о молодом, а о зрелом Георгии Иванове, Иванове-эмигранте, сложившемся поэте. И не только время другое, — но и сам автор воспоминаний принадлежит к другому поколению... Но вот что пишет о Георгии Иванове его почти что сверстник, при этом знавший поэта в его зрелые годы. Глеб Струве отмечает „нигилистический душок, которым окрашено все позднейшее творчество Иванова”. „Впрочем, нигилистическая тема, которая стала впоследствии доминантой ивановского творчества, уже звучала в ’Розах’:

Хорошо — что никого.
Хорошо — что ничего.
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать...

И о последующих книгах Георгия Иванова Г. П. Струве говорит: „Все это — этапы на пути к тотальному нигилизму, к поэзии, отрицающей самое себя... появляется новая нота: циничная, грубая, издевательская — какой-то юмор висельника” („Русская литература в изгнании”). Оценка — близкая к оценке Блока...

Кирилл Померанцев смотрить на все и вся иными глазами. Хочется с ним поспорить. Но читать воспоминания Померанцева всегда и интересно, и более того — поучительно. Кирилл Померанцев — мемуарист не только спокойно-благожелательный, но и с очень цепким и зорким глазом и крепкой памятью. И при этом сам тон воспоминаний — лирический. И при хорошей портретной живописи всегда чувствуется атмосфера эпохи. Тот „шум времени”, та „стихий-

ная музыка", какие слышали и умели передавать Блок и Мандельштам. Дает нам ее почувствовать и Кирилл Померанцев. Особенно в своих воспоминаниях о поэтах. Стихотворчество – это сразу ощущаешь – наиболее близкая область творчества нашему мемуаристу. Сам поэт, в портретах поэтов он особенно явственно передает „шум времени" – и поступь его. И в воспоминаниях об ушедших от нас все время проступает у Кирилла Померанцева некий лейтмотив, как бы подсознательно звучит в его душе строчка Саади–Пушкина – „Иных уж нет, а те далече". И, по самому характеру нашего мемуариста, нота эта звучит у него не напряженно-драматически, а задумчиво-элегически, задушевно.

Нет, биографии и портреты *других* может и должен писать вовсе не обязательно злой враг. Иначе невыносимо было бы жить на свете.

Книга Кирилла Померанцева написана *вопреки* заповеди Уэллса. И в этом ее большая ценность – и своеобычность.

*Борис Филиппов*

*Не дивно ль – в солнечном закате,*
*В сияньи или в полумгле,*
*Увидеть черное Распятье*
*Огромной тенью на Земле.*

*Увидеть всю судьбу людскую,*
*Где каждый путь есть крестный путь,*
*И эту логику стальную*
*Очеловечить как-нибудь!*

## СКВОЗЬ СМЕРТЬ

„Мертвые души" Гоголя были душами живых людей (Чичиков, Плюшкин, Коробочка...). Для меня души моих покойных друзей становятся более живыми, чем при их жизни: я с ними советуюсь, каюсь, что недостаточно их понимал, и чувствую их помощь в трудные минуты жизни.

Много мне приходилось в жизни встречать интересных людей. Одних кратко, других годами, с некоторыми дружить. Но вот, когда они проходили через мою жизнь, я, понимая их значительность, даже гордясь перед самим собой знакомством с ними, чего-то в них не разглядел, чего-то не

вместил. Никогда не приходило в голову записать разговор, брошенные замечания, острую реплику. Все шло так, будто мы бессмертны: успеется, всегда найдется время.

Но приходила смерть, все чаще, круг друзей редел. Умершие словно проваливались в небытие: исчезали, изымались из памяти. Конечно, в первые дни, недели, месяцы была боль утраты, щемила тоска, иногда угрызения: не договорили до конца, не спросил самого главного...

Это было в начале пятидесятых годов. Благодаря моему другу, богослову и философу Владимиру Николаевичу Ильину, я стал ходить на „пятницы" французского философа, христианского экзистенциалиста Габриэля Марселя и очень скоро стал их завсегдатаем. Ему уже было за шестьдесят, и он жил в Латинском квартале, возле Пантеона, на четвертом без лифта этаже старого добротного дома, каких уже давно не строят. Деталь эту вспоминаю лишь потому, что за год до нашего знакомства Г. Марсель сломал ногу; она у него както несуразно выглядела, и он с трудом передвигался, но костылей не признавал (или я их у него не видел). Не видел я, и как он справлялся с лестницей. А из-за лекций, собраний и других симпозиумов проделывать эту „гимнастику" ему приходилось минимум раза три в неделю.

Габриэль Марсель был полиглотом: отлично знал двенадцать языков, но русского среди них не было. Собирались же у него воистину „все языки и народы" – немцы, англичане, индусы, японцы. И мы с Ильиным – русские. Обычно он предлагал какую-нибудь тему, и собравшиеся ее обсуждали: „Личность и индивидуальность", „Христианство и буддизм", „Бердяев и Бёме (Властен ли Бог над свободой или нет?)"... Снисходили и до „земных" тем: политики, войны, колониализма (во Франции начиналась деколонизация).

Вспоминается одна „пятница", посвященная Индии: как раз вернулась из Дели приятельница Марселя, французская писательница (фамилии уже не помню), большая поклонница этой страны, отлично знавшая ее историю и культуру, но поехавшая туда в первый раз. Ее потрясла „жестокая нищета", которую она там встретила наряду с „позорной роско-

шью" (все ее слова), в которой живут привилегированные сословия. Так, в Дели, на перекрестке, в лохмотьях и язвах с протянутой „щепкой-рукой" сидел голодный нищий, а по улице в шелках и драгоценностях на слоне и со свитой „проплывал", ни на кого не обращая внимания, магараджа. Ну, разве не позор? Затем следовали описания „священных коров", от недоедания превратившихся в „костяные каркасы": их оставляли голодать, но убивать не смели. Словом, „круг ада". Рассказ длился около часа.

Когда он кончился, а слушатели начали возмущаться, слова попросил один индус (он оказался профессором философии Бомбейского университета) и спокойно, совершенно не задетый услышанным, сказал приблизительно следующее: „Я подобные сцены наблюдаю почти ежечасно. Жаль, что г-жа (он назвал ее фамилию) не подошла к нищему и не спросила его – хотел бы он поменяться ролями с магараджей? Она, наверно, услышала бы: „Никогда и ни за что". Потому что он знает, что они ролями поменяются после смерти".

И дальше: „Это вы, европейцы, измеряете человеческую жизнь лишь одним ее теперешним земным звеном. Мы, индусы, – всей цепью земных воплощений и их разделяющих периодов пребывания в духовном мире".

И здесь он поразил нас своим знанием христианства, признавшись, что не понимает, почему католики отрицают перевоплощение, когда о нем черным по белому говорится в девятой главе Евангелия от Иоанна: „И проходя (Иисус) увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии". И, обращаясь к нам, индус спросил: „Как можно родиться слепым за дела свои, если не предположить этих дел в предыдущем воплощении? И обратите внимание на ответ Иисуса – что слепой родился таковым не за свои грехи и не за грехи родителей, а это значит, что можно родиться слепым и за те, и за другие грехи. Иисус такую возможность признавал, она не отрицалась ни Им, ни Его учениками".

Помню, что один из присутствовавших, объясняя отрицание перевоплощения Католической Церковью, обосновал это тем, что иначе перевоплощение стало бы соблазном для человека: рассчитывая на будущие воплощения, он легче грешил бы в настоящем. Другой, напротив, перевоплощение защищал, видя в этой доктрине единственную возможность хоть как-то оправдать (или обосновать) существование зла, которое должно быть претворено в конечном счете в добро и тем самым оправдать и само Бытие, и существование его Творца.

Ильин заметил: „В перевоплощение верит почти половина человечества, и уже одно это не позволяет отмахнуться от него простым отрицанием".

И вот здесь Габриэль Марсель бросил свою знаменитую фразу, являющуюся одной из основ его философии: „Настоящее присутствие человека начинается лишь после его смерти". Фраза меня поразила, но годами оставалась неосознанной, пока не превратилась в реальность. Что она значила? То, что со смертью человека отпадает его телесная оболочка и его душа становится ощутимей душами близких ему людей. Появляется возможность ощущать душу усопшего, то есть сущность человека, очищенной от временных, вызванных обстоятельствами, раздражений, резких и зачастую неоправданных реакций, превратных суждений и т. п. И тогда начинаешь чувствовать свою вину перед умершим: там поторопился, там был недостаточно внимателен, там просто не понял. Но если задуматься, – то ведь иначе и не могло быть: при жизни душа не могла быть так близка – мешала „перегородка" тела.

Конечно, это касается не всех людей, с которыми я встречался и к которым был близок. Поэтому и писать буду лишь о тех, вспоминая которых, чувствую сквозь смерть их „настоящее присутствие".

## ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Впервые я увидел Георгия Викторовича Адамовича зимой 1946 года на литературном вечере в малом зале Русской консерватории в Париже, устроенном Ю. К. Терапиано, где мы, называвшиеся тогда „молодыми поэтами" (Тамара и Анатолий Величковские, А. Шиманская, Е. Щербаков и Б. Богаевский), читали свои стихи. Никак не ожидал Адамовича увидеть *таким*. Он почему-то представлялся мне пожилым, лет шестидесяти и непременно с белой бородой. Слышанное мной о нем в нашем поэтическом кружке от тогдашних моих знакомых и впечатление от некоторых его статей, – все это рисовало его строгим, капризным и даже безжалостным критиком. (Кстати, сам он считал себя литературоведом.) В каком-то смысле это так и было.

О вечере уже ничего не помню кроме того, что прочел несколько откровенно скверных стихотворений, и думаю, что Георгий Викторович, по свойственной ему деликатности, обошел их молчанием. Но знаю, что о других он что-то говорил. Затем я уже регулярно встречал его на литературных



вечерах, собраниях и у общих знакомых и быстро привык к его облику – теперь мне кажется диким, что когда-то представлял его иным.

По-настоящему же сошелся с ним года за три до его кончины в 1972 году и благодарю Бога за то, что так поздно, потому что за последние годы жизни он стал совершенно другим человеком, мало похожим на того, которого описывали наши общие знакомые и друзья, как и большинство его собратьев по перу, но, к сожалению, не „по душе".

И особенно теперь, когда я вглядываюсь в эти „наши" три года „сквозь смерть", больше десяти лет спустя, после буквально чуть ли не ежеутренних разговоров по телефону, во время которых мы обменивались приветствиями и мыслями (а раз в две недели вместе ужинали в „кантине" Консерватории, где кормили дешево и неплохо).

Это был тонкий, обаятельный и по-настоящему умный человек. Я никогда не слышал от него умышленно злобного отзыва о ком-либо. Иронические бывали, но злобных – никогда. Так, об одном милом, но малоталантливом литературоведе он шутливо говорил, что у него „вместо мозгов вата", а про одни замечательные, но пустоватые стихи – что „они подобны пене на стакане с пивом: тронешь пальцем, и ничего не останется".

Постепенно Георгий Викторович открывался мне и глубоко религиозным, хотя и не церковным человеком. Было это не только на словах, но и на деле. Лишь после его смерти близко знавшие его люди с удивлением обнаружили, что он из своих более чем скудных средств немало помогал своим друзьям: какому-то ребенку оплачивал школу, кому-то регулярно посылал деньги... Сам же жил предельно скромно: на седьмом этаже, в выходившей на черную лестницу комнате для прислуги, причем лифт доходил лишь до шестого этажа. И это после двух инфарктов. Единственная роскошь, которую он себе позволял, было ездить летом в Ниццу и обратно в купе первого класса спального вагона.

Он был заворожен образом Христа, как впоследствии Им была заворожена Симона Вейль, но она, считая себя хри-

стианкой и стараясь по-христиански жить, не могла – из-за ее рационализма (немного, как и Толстой) – поверить в Его Воскресение. Адамовичу тоже пришлось бороться со своим разумом, но здесь „руку приложил” я с моим штейнерианством: христология Штейнера целиком построена на „Мистерии Голгофы”, то есть на прохождении Христа через страдания, смерть и воскресение, в более приемлемом для современного сознания понимании, чем церковное. Не знаю, верил ли он в перевоплощение, но в жизнь после смерти – абсолютно. Так, месяца за два до кончины, у одних наших знакомых Георгий Викторович сказал, что хотел бы знать о своей смерти хотя бы за сутки, – „чтобы иметь возможность к ней подготовиться”. Но судьба решила иначе: он умер внезапно от инфаркта в Ницце 21 февраля 1972 года, смотря телевизор.

Можно сказать, что христианство всю жизнь „преследовало” Адамовича.

С одной стороны, он знал, что из современного мира христианство уходит: „Мир отлично устроился без христианства”, – как-то заметил Бергсон (хотя сам собирался перейти в католичество, но не сделал этого из-за гитлеровских преследований евреев, не желая десолидаризироваться со своим народом). С другой же стороны, Адамович не мог представить себе этого мира б е з христианства. Однажды он заметил: „Как можно жить, любить, писать без христианства?” Фраза эта была брошена вскользь, меня удивила, но я не реагировал, – вероятно, побоялся, что объяснения будут недостаточно убедительными и стушуют первое впечатление. Не надо думать, что в наших беседах мы касались лишь „высоких материй”. Такого рода разговоры были редки. Больше говорили „за жизнь”, как по утрам по телефону. Говорили много, хоть тоже не очень часто, о литературе, но не о новинках: Георгий Викторович утверждал, что „новинки”, даже лучшие, его уже не интересуют, что он предпочитает перечитывать любимых писателей, и среди них был, конечно, Толстой и его роман „Анна Каренина”, который он считал лучшим в мировой литературе.

Об отношении Адамовича к Толстому можно было бы написать отдельную статью и даже книгу. Постараюсь просто передать мое впечатление. В противоположность большинству читателей и специалистов, Георгий Викторович не отделял Толстого-писателя от Толстого-моралиста, учителя жизни. Толстой был для него единством (повторяю, я говорю об Адамовиче, каким знал его в последние годы его жизни, каким вижу его теперь, – „сквозь смерть"). Конечно, и, вероятно, лучше других он знал все слабости и трудности Толстого-человека. Но они вытекали из его могучей плотской природы и всякого другого человека давно бы раздавили. Стоит только прочесть дневник Толстого, его записные книжки и письма, чтобы почувствовать его гигантскую борьбу с самим собой, со своей „низшей" природой. Если бы такой борьбы не было, никогда бы Толстой не смог оказать такого влияния на своих современников – и не только в России, но и во всем мире. Он повлиял не только на Ганди, но и на индийские государственные учреждения! Толстой был до предела искренен и правдив. Эта сторона толстовского характера и толстовских литературных произведений и покоряла Адамовича. Даже христианство Толстого по своей искренности для Адамовича было более близким к истинному христианству, чем „христианство тех, кто его отлучил от Церкви".

Почему Толстой мог так убедительно писать? Конечно, благодаря своему огромному литературному таланту, но еще и потому, что он „постоянно думал о смерти" (его собственные слова). Никогда о смерти не переставал думать и Адамович: поэтому-то он хотел „хоть за сутки узнать" о своей кончине.

Но, упомянув о Толстом, – так уж у нас, русских, повелось, – нельзя не упомянуть и о Достоевском. Отношение Георгия Викторовича к автору „Братьев Карамазовых" было совсем другим. Почти до самых последних лет жизни он считал Достоевского „писателем для юношества", и – Боже мой! – каким только нападкам за эту фразу он не подвергался! В годы нашего близкого знакомства этого уже не бы-

ло – Адамович Достоевского „признал". И опять же его признание было ценней и глубже, чем восторженные дифирамбы, расточаемые великому писателю незадачливыми литературоведами. Помню, он мне как-то сказал: „Когда мы смотрим, что происходит с людьми в наше время, как в наше время унижен человек, мне всегда жаль, что Достоевский родился слишком рано и до этого не дожил, потому что такого чутья к человеческому страданию, к насилию над человеком, к несчастью человека, которому „уже пойти некуда", не было ни у кого и никогда".

Сравнивая же Толстого с Достоевским, он говорил, что „безусловно, метафизический взлет последнего был выше толстовского, но Толстой, как грузовой самолет, поднимал груз более тяжелый, и ему приходилось брать с собой всю жизнь, всю ее толщу". И в этом плане Адамович считал Солженицына наследником и Толстого, и Достоевского – наследником, равного которому после смерти Толстого не было, и не только в России, но и в остальном мире.

Приведя как пример разговор Костоглотова с умирающим Шулубиным („Раковый корпус"), Адамович заметил: „Так в наше время мог бы говорить Иван Карамазов с Алешей". В пример Толстого – нарастающую, „словно в греческой трагедии, катастрофу", предшествующую обеду у прокурора Макарыгина („В круге первом"), и „Матренин двор", под „которыми расписался бы и Толстой".

Сам поэт, Георгий Викторович всегда был исключительно внимателен к поэзии других. Многие его упрекают за то, что он долгое время не принимал поэзии Марины Цветаевой. Да, это было. Но уже не „при мне". Помню, в конце 60-х годов его беседу о Ходасевиче и Цветаевой, где он разбирал „Перед зеркалом" первого и „Роландов рог" второй, явно отдавая предпочтение Марине, хотя бы потому, – и это, быть может, главное, – что стихотворение Ходасевича можно изложить прозой, а цветаевское – нет.

Из поэтов „Серебряного века" больше всех созвучен Адамовичу был Анненский, созвучен своей внутренней тревогой, которая никогда и особенно в последние годы, не остав-

ляла Георгия Викторовича. Он, конечно, понимал и признавал величину и значение Блока, но больше как явления, чем как поэта. Анненский же привораживал Адамовича трагичностью своей настроенности, невозможностью эту трагичность преодолеть и тем, что сумел — для чуткого слуха — ее воплотить в стихи, хотя и здесь, лишь памятуя знаменитое „мысль изреченная есть ложь". А Тютчев для Георгия Викторовича был величайшим русским поэтом.

И вот теперь, когда я, вспоминая, *переживаю* Георгия Викторовича, во мне звучат (не могу найти другого, кроме этого затасканного слова) последние строки его, по-моему, лучшего стихотворения:

И может, в старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно твердил на казнь приговоренный,
И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Есть таинственная, почти физическая связь между смертью и любовью в ее высшем проявлении. И та, и другая поднимают человека до ЧЕЛОВЕКА. И теперь, когда я вспоминаю „сквозь смерть" Георгия Викторовича, я вижу эти строки претворенными и сливающимися с его образом.



Георгий Иванов и Ирина Одоевцева

## ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Теперь, более чем через четверть века, „сквозь смерть", двенадцать лет моего перешедшего в дружбу знакомства с Георгием Ивановым, его духовный облик, его настоящий „портрет" представляются мне совершенно другими, категорически не похожими на те, которые запечатлелись в памяти подавляющего большинства знавших его людей, даже считавших себя его друзьями. Делаю эту оговорку потому, что знаю, что будут возражения, будет и удивление, и возмущение. Что ж – пусть будут. Думаю даже, что в каждом возражении будет находиться какая-то доля правды, ведь человек так сложен, как не бывать наисложнейшей электронно-вычислительной машине, так глубок, – как ни один океан.

Вторая мировая война оказалась для Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой настоящей катастрофой: из обеспеченных людей они стали почти нищими. Дело в том, что до войны Одоевцева получала от своего отца из Риги деньги, на которые они могли жить более чем безбедно. Когда я с ними познакомился в 1946 году, они попросту бедствовали. Мо-

гут сказать – мол, надо было работать, найти все равно какую работу, но работать. Работал же Смоленский бухгалтером, Гингер – корректором, Туроверов – банковским служащим.

Конечно. Но ни Георгий Владимирович, ни Ирина Владимировна работать не умели. Не не хотели, а не умели. И я имел возможность в этом убедиться.

Все это сны:
Руки твои ни на что не нужны.
Этим плечам ничего не поднять,
Нечего, значит, на Бога пенять.

Здесь нужно сделать одно замечание. Георгий Иванов был исключительно честен в своих стихах, выставляя себя таким, каким он был „внутри себя". Ему не пришло бы в голову написать, как это делал, например, Ходасевич: „Мне лиру ангел подает, / Мне мир прозрачен, как стекло". Хотя бы потому, что вряд ли может существовать человек, для которого „мир прозрачен, как стекло". Я вовсе не критикую Ходасевича, который, конечно, знал лучше, чем я, что ему можно писать и чего нельзя.

Летом в 1948 году я проводил свой отпуск в маленьком альпийском городке. Получаю письмо от Георгия Иванова: „Ты спрашиваешь о настроении, о планах. Прилагаю стишок:

Собиратели марок, эстеты,
Рыболовы с Великой реки,
Чемпионы вечерней газеты,
Футболисты, биржевики;

Все, кто ходят в кино и театры,
Все, кто ездят в метро и в такси,
–
Хочешь, чучело, нос Клеопатры?
Хочешь быть Муссолини? – Проси!

И просили и получали,
Только мы почему-то с тобой
Не словчили, не перекричали
В утомительной схватке с судьбой".

Он был уверен в своей неспособности к какой-либо работе, кроме писания стихов. Воспринимал эту неспособность как обреченность. Толкуйте это как хотите – суеверие, предрассудок, самовнушение; это ничего не изменит. Это было фактом, и я тому свидетель. И это приносило ему немало унижений и оскорблений, потому что он отлично знал, КТО он и каково его место в русской поэзии.

До войны были деньги, присылаемые отцом Одоевцевой. После войны Латвия была оккупирована СССР, и денежные поступления прекратились. А жить было надо. Георгий Иванов понимал, что теперь содержать жену надо ему. За печатавшиеся в газетах и журналах стихи платили гроши. „Чеховское издательство" переиздало его „Петербургские зимы". Какие-то доллары он получил. Хватило ненадолго. А дальше? – „Руки твои никому не нужны".

Оставалось лишь – ходить с протянутой рукой по „меценатам" – небольшой кучке богатых русских – и буквально просить „на кусок хлеба". И это ему – Георгию Иванову! Ведь я уже упомянул, что ценителей его поэзии можно было по пальцам перечесть, к тому же, как правило, чем богаче были „благодетели", тем скупее они „благодетельствовали".

Последний вечер в 1956 году в Малом зале Русской консерватории в Париже, где он читал свои стихи, не собрал даже сорока человек!

Ведь до поэзии, до вечной русской славы
Вам дела нет...

Этот черный период я слишком хорошо знал. Слишком, потому что сам тогда не легко жил и много помочь не мог. Помню, как однажды пришел к ним в дешевый отель, где они жили. Комнату наполнял тяжелый полумрак. Одоевцева

была простужена и лежала, Иванов сидел около нее на кровати. Они несколько дней ничего не ели; за комнату, конечно, не было заплачено. Мы вышли с Жоржем что-то купить, наверно, хлеба, колбасы, сыра. О чем говорили, не помню. Вернее, ни о чем: то, что было тогда главным, и так было ясно. То, что мне хочется, это разрушить легенду о Георгии Иванове – грубияне и цинике, потому что грубость и цинизм служили лишь прикрытием его внутренней беззащитности, боли, обнаженной раны, которыми становилась в такие периоды его жизнь. К одному из них относятся стихи:

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но что мне просить у Бога
И бессмыслица и грех.

Горестное очарование этих строк не только в том, что они подкупают своей обнаженной правдивостью, но и в том, что, трансцендируя личное, они становятся общим: каждый эмигрант, где бы он ни находился и к какой бы национальности ни принадлежал, может сказать о себе то же самое и такими же словами, превращая их в общеэмигрантскую трагедию.

Это заметил и Наум Коржавин, как-то сказавший мне: „В отличие от других поэтов-нытиков, Георгий Иванов пишет так, что его стихи никогда не воспринимаются, как личная жалоба, но как твое собственное переживание".

Были, конечно, и „антракты", но редкие и кратковременные. Так, когда Одоевцева написала роман „Оставь надежду навсегда" и за его французское издание получила сравнительно приличный гонорар, на следующий же день они укатили в Ниццу. Ниццу они любили особенно, и Георгий Иванов любил повторять, что в богохранимые времена ее любил и богач граф Зубов за ее „лучший в мире базар", куда за покупками всегда ходил сам. Сколько времени длились „ниццы", уже не помню. Что-то около месяца. Ивановы нанимали

там комнату в приличном отеле, , наверстывали „черные дни" и возвращались в Париж без гроша. Начинались новые мытарства, новые унижения, новый очередной период „распроклятой судьбы эмигранта". Крепла броня, которой он прикрывал свой внутренний мир, который затем преобразился в одни из лучших когда-либо написанных на русском языке стихов – глубоких, точных, музыкальных:

Я верю не в непобедимость зла,
Но только в неизбежность пораженья.

Ведь чтобы найти подобные строки, нужно обращаться к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Мандельштаму, Анненскому. Это – строки, на которых можно построить целый философско-религиозный трактат. Или другие, характеризующие расколовшийся на два непримиримых начала современный мир:

Туманные проходят годы
И вперемежку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

Или еще – о задаче, миссии людей, преследуемых советской властью:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках
Россия та, что будет жить в веках.

Перечислить имена всех, бежавших из „планетарного ада" или высланных коммунистической властью носителей веками создававшейся русской культуры и науки – невозможно, к тому же главнейшие из них известны всему миру. Не Лысенко же с Демьяном Бедным перенесут культуру и науку в грядущие столетия! Перенесут их те, кто, избежав лагеря или вырвавшись из него, очутился на Западе или, как

великий Сахаров, предпочел унижения и страдания ради правды. Георгий Иванов сконцентрировал эту истину в четырех строках!

Приведенные примеры – не разбор ивановских стихов, но лишь попытка объяснить, дать почувствовать тем, кто его знал и возмущался его резкостью и грубостью, да, самой настоящей грубостью, – что эти черты были единственной возможностью защиты им своего совершенно беззащитного, детски ранимого внутреннего мира, рождавшего такие строки.

Начиная с послевоенного времени, эмиграция стала для Георгия Иванова „и тюрьмой, и сумой”. И чем больше лет проходит с его кончины, с тем большей болью я ощущаю эти его и „тюрьму”, и „суму”. Ощущаю их как свою вину перед ним, хотя тогда я ничем помочь ему не мог.

В 1955 году Ивановым удалось устроиться в дом для престарелых на берегу Средиземного моря, недалеко от Ниццы, в Йере. В доме было много испанцев, преимущественно „красных”, в свое время убежавших от Франко. С некоторыми из них Георгий Иванов близко сошелся и даже подружился, хотя сам был закоренелым монархистом. „Правее меня только стена”, – любил повторять он. В Йер я приезжал три раза во время летних отпусков. Он мне рассказывал о своих испанских друзьях, подчеркивая их исключительную порядочность и обаятельность. Это тоже показательная черта его характера: он не оценивал человека на основании одних лишь его политических взглядов.

В первый мой приезд в Йер я нашел Жоржа более спокойным: заботы о насущном отпали, какие-то мелкие деньжата появились – выдавали небольшие пособия, что-то присылали друзья. В Париж я привез сразу же запомнившееся, последнее написанное им стихотворение, начинавшееся словами: „Свободен путь под Фермопилами” и кончавшееся:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной – стихи, с другой – жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Русская молодежь неповинна в грехах родителей и не ведает, что живет в тюрьме. Лишенный собственных своих радостей, русский поэт радовался за нее.

Во второй раз, в 1957 году; он был уже другим, сгорбился, тяжело дышал, трудно ходил. Мы еле доплелись до скромного ресторанчика, что находился метрах в трехстах от их дома. Почти ничего не ел, не выпил и глотка вина (а как раньше любил!). Разговора о его здоровье не поднимали. К чему?

В Париже, как и раньше, почти каждые две недели я получал письма из Йера, больше от Одоевцевой, с июня только от нее: „Пришли соленых огурцов и, если найдешь, русскую селедку, Жорж очень просит. Ему стало хуже...” Раза два послал, потом – не было денег. (Случались и у меня такие „периоды”).

29 августа 1958 года снова приезжаю в Йер. Вхожу в Дом, спрашиваю – где комната Ивановых. Замешательство. Кто-то смущенно отворачивается, кто-то проводит и указывает на дверь. Стучу и, не дожидаясь ответа, вхожу. Вся в черном сидит Одоевцева.

– А Жорж?

– Позавчера...

На местном кладбище – чуть заметный бугорок земли, маленький, связанный из двух веток воткнутый в него крест.

Повторяю одни из последних написанных им строк:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть, вернуться в Россию – стихами.

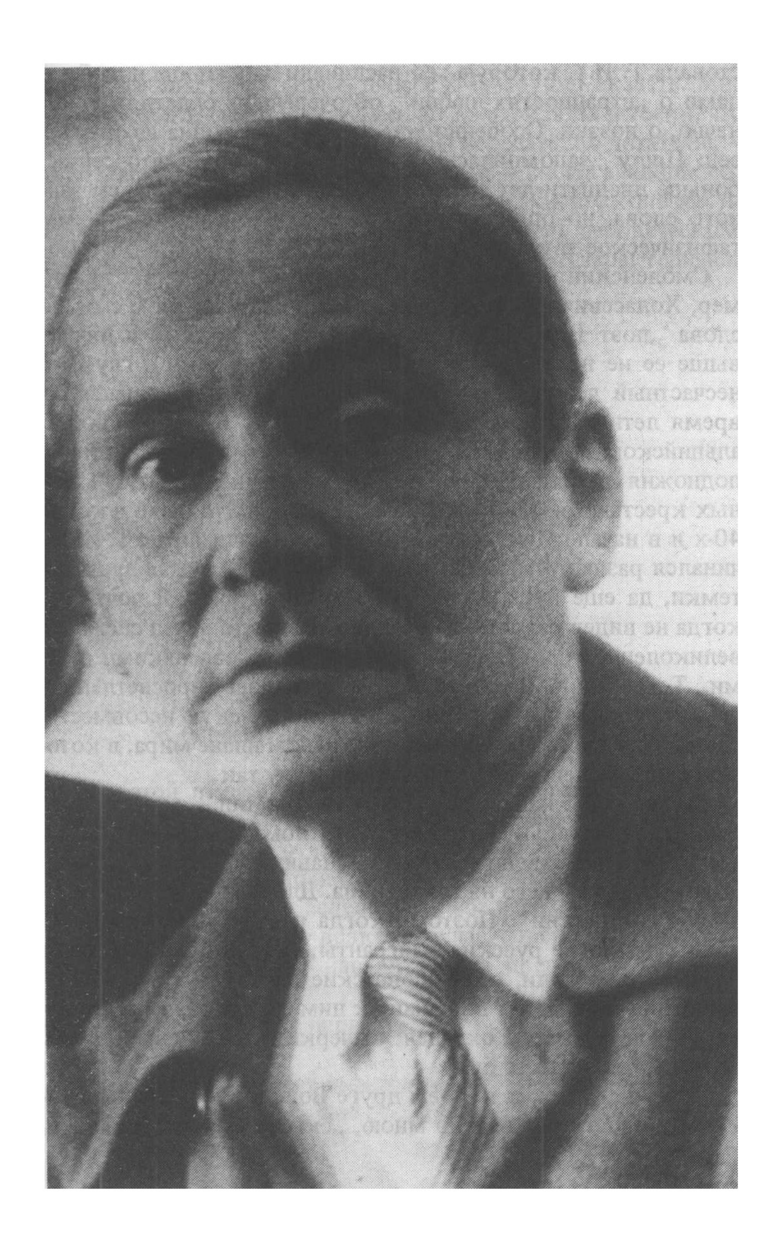
Ты уже вернулся, дорогой Жорж. И если бы знал, КАК вернулся! В России тебя уже знают, читают, перечитывают, запоминают навсегда.

## ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ СМОЛЕНСКИЙ

Владимир Алексеевич Смоленский был безусловно самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен. Очень красивый человек, он читал свои стихи со сдержанным пафосом, сопровождая чтение музыкальными жестами рук. Я сказал „музыкальными" потому, что жесты словно аккомпанировали музыке его поэзии.

Он был первым из парижского литературного мира, с кем я познакомился. Это было в конце 1944 года. Познакомился и с его второй женой, Таисией Ивановной, которой он посвятил немало своих стихов.

Постепенно знакомство перешло в настоящую дружбу, так что до его кончины в 1961 году я, как правило, минимально раз в неделю заходил по вечерам к нему, на седьмой этаж улицы Лакретелль, минутах в пятнадцати, „на своих двоих", от моей „Церковной" (rue de l'Eglise). Заходил просто, захватив бутылку вина (против чего регулярно проте-



стовала Т. И.), которую мы распивали за ужином и за беседами о „странностях любви", об очередных сплетнях и, конечно, о поэзии. Особенно мне запомнилась одна из этих бесед. Пишу „запомнилась" в кавычках потому, что сейчас, больше двадцати лет спустя, не помню ни одного им сказанного слова, но ощущаю „сквозь смерть" неповторимое метафизическое звучание беседы.

Смоленский не был большим поэтом, таким, как, например, Ходасевич или Пастернак, но это был в полном смысле слова „поэт Божьей милостью", живший поэзией и ничего выше ее не признававший. Но это был сложный и глубоко несчастный человек. Наиболее близко я с ним сошелся во время летних отпусков, которые он, Т. И. и я проводили в альпийском городке Сервоз, километрах в пятнадцати от подножия Монблана. Смоленские нанимали комнату у местных крестьян, я – в скромном отельчике. Это было в конце 40-х и в начале 50-х годов. Уже тогда у Владимира с Т. И. начинался разлад. Что было тому причиной? – чужая душа потемки, да еще душа глубоко неблагополучная. Я почти никогда не видел радости на его лице, разве что перед снежным великолепием Монблана или играющими маленькими детьми. Тогда лицо Владимира преображалось, просветленное грустной радостью. Я понимаю онтологическую несовместимость этих слов, но в экзистенциальном плане мира, в котором жил Смоленский, это было воистину так.

За все годы нашей дружбы я не заметил – может быть, был недостаточно наблюдателен, – чтобы у Смоленского были враги. Единственно кого он ненавидел, – это большевиков, убивших у него на глазах отца. Для него они были палачами „его России". Поэтому когда после Второй мировой войны немногие русские эмигранты, среди которых были и близкие ему люди, взяли советские паспорта и ждали возвращения на родину, Владимир к ним охладел; не поссорился с ними, а именно охладел: вычеркнул их из своей души. Их имен называть не буду.

Дело не в них, а в моем друге Володе Смоленском. Каким он проступает передо мною, „сквозь смерть", двадцать

два года спустя? Трудно, невероятно трудно сказать. Мне чувствуется в его душе столько неизжитой боли и тоски, что не хватает подходящих слов, чтобы передать это читателю, — человеку, лично его не знавшему, и не удивить знавших его мало. Попробую это сделать через его стихи, но, конечно, не в литературоведческом смысле, а в смысле человеческом, душевно человеческом. Здесь мне кажутся характерными два стихотворения:

Как летящая из сил последних птица
Посредине ледяного океана,
С верной смертью продолжает биться,
Средь ветров, и стужи, и тумана.

Как она должна свое дыханье
С силою своею соразмерить,
Чтоб в себе преодолеть желанье
Больше не бороться и не верить.

Что должно ей, этой птице, мниться
В океане том необозримом... —
Так и ты, душа, должна стремиться
К берегам своим недостижимым.

Вот этой птицей мне и представляется живший „из последних сил" Смоленский. „Ледяным океаном" — его жизнь, ставшая „ледяной" отчасти и по его собственной вине. Или судьбе? Ведь в том-то и тайна человеческой жизни, что зачастую личная вина и „слепая" судьба неразрывно сплетены. Какая же это вина? Во всяком случае, совершенно достаточная, чтобы жерновом навалиться на предельно тонкую и чуткую душу.

И второе, подобное первому:

Любимая моя живет в Китае,
В высокой башне обо мне мечтая.

И, может быть, она уже стареет...
За годом год, за ветром ветер веет,
Раскосые кругом теснятся люди –
Но нет меня, и никогда не будет,
У маленькой и желтоватой груди.

Сергей Рафальский считал это стихотворение одним из лучших и, во всяком случае, лучше других выражающим внутренний мир, умонастроение Смоленского: не только он разлучен со своею любовью, но и его любовь разлучена с ним; он обречен жить с мечтой, но и мечта обречена жить с ним. Снова двойная обреченность.

Георгий Иванов, как и Смоленский, ненавидел и не принимал советский мир. Но будучи меньшим лириком и большим реалистом, в какой-то момент понял, что жить в двух мирах нельзя, „проснулся, чтоб увидеть ужас, бессмысленность своей судьбы...". Владимир такого пробуждения не хотел, а вдруг... И поэтому старался „убежать":

Мне трезвый мир невыносим –
Недвижность есть в его движенье.
Пронизан мглой, пропитан тленьем,
Безвыходной тоской томим,
Он мне невыносим. Люблю
Божественное опьяненье...

Поэтому:

Мы будем пить, пока вино в стаканах,
Мы будем жить, пока любовь в сердцах,
Бессильны против любящих и пьяных
Земная злоба, нищета и страх...

Здесь все же придется коснуться личной жизни поэта. Он кончил какую-то коммерческую школу и работал бухгалтером на небольшой фабрике, принадлежавшей почитателю его поэзии. Не думаю, чтобы он был хорошим бухгалтером, да-

же не в смысле профессионализма, но просто потому, что считал недостойным поэта такое ремесло: „считать деньги!". Но надо было как-то жить, а значит, как-то работать. Ничего другого Владимир делать не умел. Когда я его спрашивал, почему он пошел на бухгалтерские курсы, он только разводил руками.

Затем семейные обстоятельства. Таисия Ивановна была его второй женой. От первой у него был сын Алеша, высокий, стройный, интересный – но не такой красивый, как отец, – юноша, которого я видел два раза. С Т. И. отношения у Владимира были одинаково (так мне казалось) и трудные, и светлые.

Во всяком случае, одни из лучших его стихотворений посвящены ей:

Не знаю как, не знаю почему,
Какими силами земли и неба,
Но ты со мною делишь корку хлеба
И к сердцу приникаешь моему.
И в смерти час и в вдохновенья час
Со мною ты всегда неотделимо,
Все движется, все – мимо, мимо, мимо...
Недвижно лишь твоих сиянье глаз.

Или конец другого:

И я пойму, зачем из темноты
Я вызван был на счастие и муки,
И улыбнусь... Ко мне склонишься ты
И на груди мне накрест сложишь руки.

Не помню, чтобы Смоленский ходил в церковь. И не потому, что был неверующим. Но потому, что и вера его была мучительной: она как бы раздваивалась между Богом и Христом. Здесь – тайна; ведь и Христа он считал Богом, Но Христос был ему ближе Своей бого*человечностью.* Бога же он воспринимал скорее по-древнееврейски „сокрушающим ребра" и „карающим". Отсюда и страшные строки:

Проклясть земной и страшный мир,
Людей и ангелов и Бога...

За что? За то, что

Ты отнял у меня мою страну,
Мою семью, мой дом, мой легкий жребий,
Ты опалил огнем мою весну,
Мой детский сон о правде и о небе...

Толковать их не берусь, даже сейчас, „сквозь смерть", потому что сам Владимир не отдавал себе полностью отчета в том, что написал. Могу только – но опять же, лишь его собственными стихами, – дать представление о его душевном состоянии:

Никакими словами, никакими стихами,
Ни молчаньем, ни криком – ничем
Не расскажешь о том, что ты слышишь ночами,
О том, что закрытыми видишь очами,
Когда неподвижен, и нем,
И глух, ты лежишь, как в могиле, в постели,
На грани того бытия,
И в темном, надземном, надзвездном пределе,
Над жизнью и смертью, без страха, без цели
Душа пролетает твоя.

Никакими словами...

Фотографически запечатлелись наши горные прогулки вдвоем в Сервозе. Сговаривались с вечера, что Владимир зайдет за мной, потому что из моего отельчика, сразу после небольшой площадки перед ним, поднималась извилистая дорожка на горный перевал. Она проходила возле шалаша деда Бушара, которому принадлежал небольшой клочок земли, где, кроме елей, росло еще несколько сливовых деревьев. Из плодов их дед гнал отличный „мар" (местный самогон) и продавал по баснословно дешевой цене. Мы час-

тенько его покупали, и это служило поводом не брать с собой, несмотря на все ее домогательства, Т. И. Домогательства Смоленского раздражали, но понять Т. И. было не трудно, так как случалось, что за такую прогулку, длившуюся три-четыре часа, мы иногда выпивали всю бутылку. Мар нас нежно пьянил, развязывались языки и распахивались души, а горный воздух, развевая алкогольные пары, предохранял от „положения риз". Внизу, конечно, доставалось и Владимиру, и мне.

Совсем другими вспоминаются последние, длившиеся почти год, месяцы мучительного умирания Смоленского от рака горла, особенно после операции, когда он уже почти, точнее, совсем не мог говорить, отвечая жестами или написанными на бумаге несколькими словами. Они раковой опухолью врезались мне в память, и мне физически тяжело о них писать. Ведь дело касается чувства, духовно-душевной драмы, с которой я соприкасался, входя в квартирку Владимира. В ней уже хозяйничала смерть, она была почти физически ощутима, но какой-то издевательский оптимизм (или слепота?) прогонял мысль о ней. Творилась мистерия, и у меня не хватает слов ее описать. Да я и не знаю, существуют ли для таких вещей слова. Воистину „никакими словами..."

Чужая душа – потемки. Но в потемках, ощупью, можно все же как-то пробираться. К душе Володи Смоленского мне до сих пор страшно прикоснуться, столько в ней было любви и нежности, горести и отчаяния. И вот они сейчас расположились вокруг меня, я их чувствую, как мои собственные, но подойти к ним, коснуться их – не в силах.

Одна только боль, боль и боль.

И вот 8 ноября 1961 года, часов в десять утра, телефон. Звонила наша общая знакомая поэтесса А. И. Горская: „Скончался Смоленский...".

Ему было 60 лет.

Он лежал на кровати, смуглый, с белым венчиком на лбу. Еще более красивый, чем при жизни. Почему-то мелькнула мысль (до сих пор от виденья не могу отделаться): таким был Магомет.

В комнате были Т. И., ее младшая сестра и муж сестры, священник И. Верник. Около кровати на стуле лежала открытая книжка стихов Бунина, которые за последние недели Владимир очень полюбил. Самого же Бунина он всегда любил. И Бунин его. Насколько помнится, больше никого не было. Не было и слез. Одна лишь, в каждом ушедшая в себя, напряженность.

Я старался стихами Смоленского передать его образ, облик, внутренний мир. Приведу теперь его любимое, „коронное”, которое он читал на всех своих выступлениях, и всегда сопровождавшееся бурными аплодисментами:

Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом –
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косыя
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.

Давно был этот дом построен,
Давно уже разрушен он,
Но, как всегда, высок и строен,
Отец выходит на балкон.

И зоркие глаза прищуря,
Без страха смотрит с высоты,
Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.

И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы или из могилы
Выходит, улыбаясь, мать.

И вот, стоят навеки вместе
Они среди своих полей,
И, как жених своей невесте,
Отец целует руку ей.

А рядом мальчик черноглазый
Прислушивается, к чему –
Не знает сам, и роза в вазе
Бессмертной кажется ему.



## ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ОДАРЧЕНКО

Юрий Павлович Одарченко был не только одним из наиболее близких моих друзей, но, вместе с Георгием Ивановым, Ириной Одоевцевой и Владимиром Смоленским, моим учителем искусству поэзии, хотя сам не достиг в ней большого мастерства (такого, например, как Георгий Иванов). Прибавлю, что несколько лет мы жили в одном и том же доме; это позволяло мне часто с ним общаться и вести беседы не только „за жизнь", но о том, что „по ту сторону" и жизни, и добра, и зла. Он был изумительным товарищем и другом. Для меня, во всяком случае.

Теперь, когда я пишу „сквозь смерть" о всех замечательных людях, с которыми мне Высшей волею посчастливилось встретиться и я так неуклюже отдаю им свой долг, мне становится до боли обидно, что я не смог при жизни по достоинству их оценить. Мне нравилась поэзия Одарченко своей оригинальностью и парадоксальностью, но я не сумел разглядеть за ней *человека.* Некоторые же высказывания и поступки Юрия Павловича я просто воспринимал как его

очередные шутки или чудачества. Лишь после его трагической смерти я стал смутно и постепенно понимать, что его поэзия и он сам были о д н о.

У нормальных людей или, точней, у тех, которых принято считать нормальными, сознание от подсознания отделено настоящим „железным занавесом”. В эзотерических школах, начиная с древнейших времен и по наше время, специальными упражнениями подготовляют учеников для безболезненного, без „шока”, проникновения в подсознательный мир духовных существ, заполняющих эту область человеческой души. И подготовка может длиться десятилетиями. Это знает, хотя и неполно, психоанализ, в частности, школа Юнга и его последователей. Но существуют люди, у которых этот занавес уже с рождения более или менее проницаем. Такими, например, были Гоголь и Гойя. Я, конечно, не сравниваю по значительности Одарченко с Гоголем или с Гойей – этим займется история, но лишь отмечаю одну из основных черт их общего душевно-духовного мира.

Друзья и знакомые относились к Ю. П. как к добродушному чудаку, и мне не помнится, чтобы кто-нибудь принимал всерьез его поэзию; никому не приходило в голову в нее вдуматься. Исключение составлял, пожалуй, Георгий Иванов, который благодаря своему необычайному чутью к искусству и – само собой – к поэзии, понимал, что стихи Одарченко есть нечто совершенно новое.

Пользуясь формулой автора „Портрета без сходства”, я бы сказал об Одарченко, что ему „искалечил жизнь обман двойного зренья”. Он с таким „зрением” родился и как поэт искал способа (то есть словосочетаний) описать увиденное таковым. Отсюда и строки:

Я расставлю слова
В наилучшем и строгом порядке –
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.

Но что может „изреченная мысль”? Поэтому и от стихов Одарченко никто не побежал. Разве что – если кто вдумы-

вался в его стихи – по коже порой пробегал холодок. Бежал же, но уже от самого себя, он сам. Так, во всяком случае, мне казалось во время наших откровенных бесед. Я уже несколько раз об этом писал. Он мне рассказывал о каком-то знакомом ему французском писателе, который выпивал, „чтобы допиться до чертиков", чуть ли не по десяти рюмок перно (французская анисовая водка), после чего ему действительно „лезла в голову всякая чертовщина", а он из нее „стряпал свои небылицы", которые охотно покупались издателями.

– А я, – жаловался Ю. П., – вижу эту чертовщину без всякого перно. Даже наоборот: у меня алкоголь ее прогоняет.

Сколько раз во время таких разговоров он вдруг ни с того, ни с сего быстрым жестом, словно ловил муху, ловил на мне (как и на других) „чертей", „юрких, зелененьких... а рожи-то, рожи!" – с самым серьезным видом объяснял он. И действительно, он их видел, что было очевидным из непосредственной искренности как его жеста, так и его слов.

Все это отлично знал Достоевский, рассказывавший, как Свидригайлов объяснял Раскольникову, что, „если привидения являются только больным", это не значит, что привидений нет, но лишь то, что „привидения могут видеть только больные". В этом отношении характерно стихотворение:

Мальчик катит по дорожке
Белое серсо.
В беленьких чулочках ножки,
Белое серсо.
Солнце сквозь листву густую
Золотит песок,
И бросает тень густую
Кто-то на песок.
Мальчик смотрит, улыбаясь –
Ворон на суку.
А под ним висит, качаясь,
Кто-то на суку.

Мальчик, конечно, не видел. Но Одарченко „увидел": „кто-то" – смерть мальчика. Даже взрослые редко задумываются над тем, что с каждым новым рождением рождается и новая смерть. Четыре тысячи лет назад в „Бхавагад-Гите" Кришна говорил своему любимому ученику Арджуне, что, как только человек рождается, он уже начинает умирать. Толстой уверял, что о смерти начал думать еще ребенком.

Но вот примеры уж буквально „двойного зрения":

Есть совершенные картинки:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда усердно мать хлопочет,
Одеть теплей сыночка хочет,
Чтоб мальчик грудь не застудил,
А мальчик в прорубь угодил.

Когда скопил бедняк убогий
На механические ноги,
И снова бодро зашагал,
И под трамвай опять попал.

И недаром эти картинки называются „совершенными": они примеры *завершенной* жизни, и не так, как мог предположить человек, но как было в „Высшем решено совете".

В эмиграции Одарченко не ценили, да и мало понимали. Не понимали даже маститые критики и литературоведы, ряд которых вместо того, чтобы вдумываться в его стихи, предпочитали издавать свои беспомощные вещи. Но поэты из Советского Союза, одно время часто приезжавшие в Париж, буквально балдели, когда я им читал его стихи. Они ощущали в них что-то совершенно новое и глубокое, чуть ли не откровение о нашем времени, как мне сказал один из них, сам замечательный поэт. А Ю. П. не переставал повторять: „Подождите пятьдесят лет и увидите..."

Но видишь, Юра, много, много раньше (он умер в возрасте 57 лет, в 1960 г.). Если бы „через 50", – я бы не дожил и

не мог бы гордиться дружбой с тобой и радоваться за тебя. Ведь ты же был изумительным по чуткости и таланту человеком. И, как каждый такой человек, редко с кем делился „самым главным".

Пожалуй, с детьми, но с ними – по-детски. Потому что детей Одарченко очень любил, и они любили его. Одной из причин тому было его изумительное уменье не только рассказывать, но и придумывать, порой во время самого рассказа, занимательные сказки, само собой, двуплановые и страшноватые, что детей не смущало, но оставляло у них чувство таинственности окружающего их мира, а не примитивно псевдонаучного, который им вдалбливают в современных школах. Пересказать его сказки я не могу, во-первых, займет слишком много места, а во-вторых, нужен специальный образный одарченковский язык с его специфической интонацией. Приведу лишь несколько строк, но уже лишь „стишок", написанный в альбом моей племяннице Марине Померанцевой, когда ей было двенадцать лет:

Вот земной, Мариша, рай:
Зайчик, зайчик, убегай!

Но охотник злой стреляет
И зайчонка убивает.

Ах, как жаль! Ах, как жаль!
Нету права на печаль.

Я умышленно взял слово стишок в кавычки. Марине, конечно, стало жаль зайчика, как это было бы всякому нормальному ребенку, но и было столь же нормально, что жалость была очень скоро забыта. К тому же, забвению способствует и предельно ускорившееся наше научно-материалистическое время, буквально не дающее человеку подумать, как одно событие уже сменяет другое, одно открытие – другое открытие. Но если вдуматься в две последние строки „стишка", от них ведь по-настоящему можно „сбежать без оглядки". А вот и другие „совершенные картинки":

Мышь без оглядки от кошки бежит.
Волка убьют на охоте.
Птица по синему небу летит –
Платят за птицу по счету.
Ясно. Все ясно...

Но кому приходит в голову это „ясно"? Кто задумывается над тем, что *всеми* считается нормальным, когда люди „платят по счету"? А ведь вся жизнь есть расплата и за свои грехи, и за грехи родителей, и за совершенные страной. Вся жизнь человеческая есть расплата. За чьи же „грехи" платил Одарченко, что родился с „двойным зрением", оказавшимся для него роковым бременем, но сделавшим его замечательным поэтом?

Отлично помню, как однажды, когда я засиделся у него до позднего вечера, он вдруг начал рассказывать мне о том, что творится под нами, под землей, в разных ее пластах, какие там буйствуют, мечутся и борются темные духовные силы, одни „липкие", другие „скользкие", но все страшные, готовящие нам землетрясения, вулканические извержения, бунты и войны. Я, конечно, по дурацкому своему обыкновению, не подумал записать. Но вспоминается, что становилось страшновато и создавалось впечатление, что действительно что-то копошится, начинает глухо стучать и вот-вот взорвется. А Ю. П. продолжал рассказывать, словно все видит и слышит наяву (для него и было наяву!).

– Неужели не слышишь? Ведь они сейчас землю проломят, наш пол...

Такие рассказы случались не часто, но случались; и ясно чувствовалось, что Ю. П. говорит о том, что действительно видит и слышит, что это видимое не вымысел, не фантазия, но лишь обратная сторона, „изнанка" раздираемого противоречиями и страстями реального мира, в котором мы живем.

Вот как он сам толковал вышедшее из таких видений одно из своих стихотворений:

Медведи стали огурцами
(Я с детства к точности привык)
И повторяю – огурцами.
Многообразен наш язык.
А сколько их в соленой бочке!
В ней русский дух, в ней есть укроп.
Здесь точность требовала б точки,
Но – огурцы, на них укроп...
Неточность вся в последней строчке:
Не снят еще стеклянный гроб.

Когда он мне его прочел, я растерялся, совершенно не понимая, что к чему: медведи, огурцы, бочка, гроб? Юра искренне удивился такой моей тупости: столько лет знакомы, а я не понимаю!

– Да очень просто: медведи – это русские люди, которых большевики „засолили", да так спрессовали, что они стали огурцами в соленой бочке, лежат, не двигаясь, пикнуть боятся.

– Ладно. Но при чем же „стеклянный гроб"?

– Это же стеклянный колпак, под которым в мавзолее лежит мумия Ленина. И до тех пор, пока будет стоять мавзолей, будет держаться и советская власть. Потому-то его так охраняют.

В оккультных кругах это хорошо знают. Об этом говорил и Рудольф Штейнер своим ближайшим ученикам. Я это знал от вдовы Андрея Белого, Аси Тургеневой, долго работавшей с основателем Антропософского общества. Но ни к оккультным кругам, ни к антропософии Одарченко не имел никакого отношения и очень обрадовался, услышав от меня подтверждение своим провидениям.

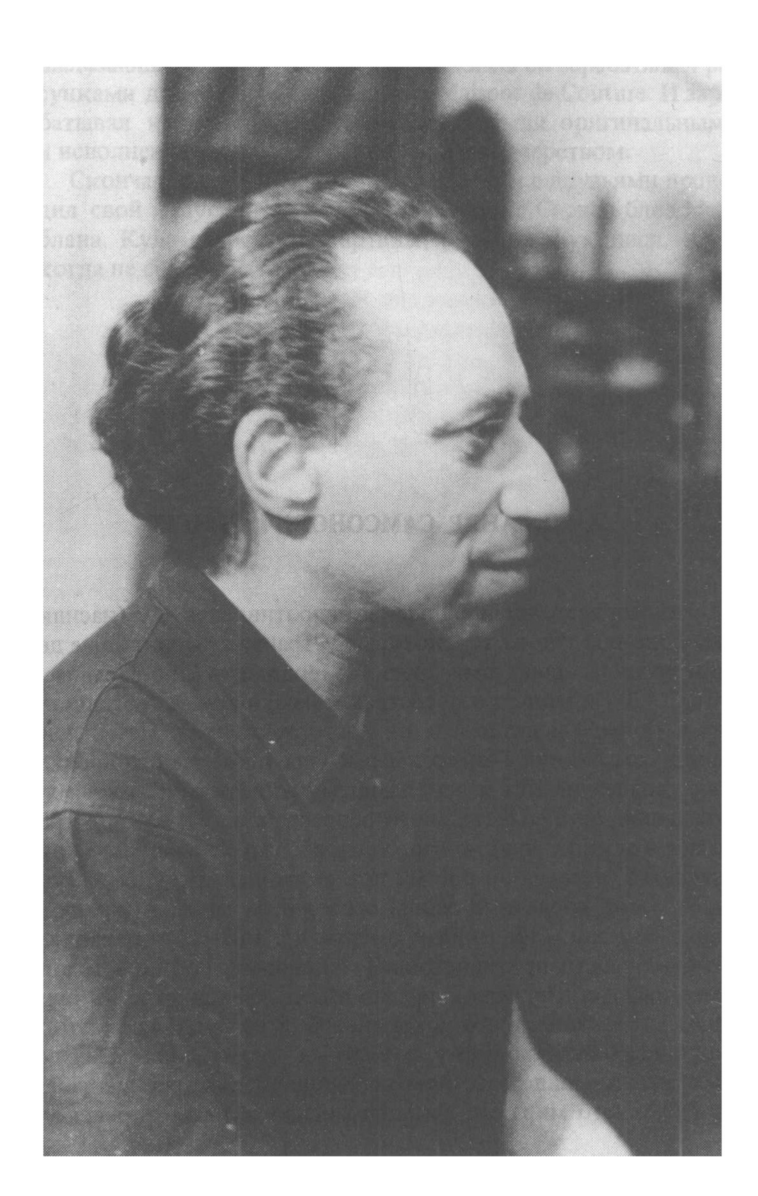
Он, кроме того, был еще неплохим пианистом и отличным рисовальщиком. В его студии висело несколько картин маслом: „Ночь на Лысой горе", „Шабаш ведьм", вдохновленных его любимым писателем Гоголем; портрет какого-то судьи на Нюрнбергском процессе, голова которого была окружена пробивающейся в нее нечистой силой; словно

вылезающие из полотна цветы. На жизнь он зарабатывал рисунками для материй знаменитых Maisons de Couture. И зарабатывал неплохо — рисунки всегда были оригинальными и исполненными с большим вкусом и мастерством.

Скончался он летом 1960 года, когда я с друзьями проводил свой отпуск в савойской деревушке Сервоз близ Монблана. Куда делись его картины, рисунки, рукописи, — никогда не смог узнать.

# АЛЕКСАНДР САМСОНОВИЧ ГИНГЕР

Это был настоящий пацифист, непротивленец злу (насилием, конечно). Не из тех, которые устраивают крикливые демонстрации с плакатами против „Першингов", но забывают об „СС-20" и молчат о зверствах коммунизма в Афганистане, в Польше и везде, где он восторжествовал. Нет. Александр Самсонович Гингер имел к ним такое же отношение, как „созвездие Пса к псу, лающему животному". Еврей по рождению, он с сознательного возраста стал отходить от религии отцов, не чувствовал ее своей, ему ближе было христианство, а когда он с ними познакомился, индуизм и буддизм; этот последний своим осознанием мира, в котором царят болезни, страдания и смерть, и таким же осознанием необходимости противостояния им своими, но лишь духовными силами. Не знаю, перешел ли он „официально" в буддизм, знаю только, что похоронен был по буддийскому обряду, высоко духовному и благочестивому. Для меня он был живым свидетельством перевоплощения: вернувшаяся из Духовного мира его душа не могла ужиться в еврейском



теле. (Что, конечно, не значит, что буддизм выше иудаизма. Все религии обоснованы, а в плане духовном равны и все входят „в Божий замысел" о человеке и человечестве.)

Как почти всегда бывает, на сокровенные, хранимые сердцем темы, редко приходится говорить даже с другом: для этого нужна особая обстановка и специальная настроенность, некий душевный „осмос" беседующих. Поэтому и с Гингером причин его „обращения" я почти не касался: не выходило; но бывали моменты, когда он сам, так или иначе, о них говорил. И замечательная вещь, он, как я уже упомянул, иудаизм никогда не критиковал, хотя в ряде положений буддизм как будто противоположен иудаизму. Думаю, что Гингеру было близко все, что он находил высокого во всех религиях. Так, он очень высоко ставил христианство, о чем свидетельствуют некоторые из его стихотворений.

Но, быть может, главной его отличительной чертой была честность с самим собой и верность своим принципам. Я не встречал человека, столь скрупулезно следовавшего принципам (к тому же довольно высоким), которые он сам для себя поставил, по собственному опыту знаю, как это трудно и подчас не под силу.

Познакомился я с ним в конце 40-х годов, когда, подходя к литературе, лишь терся возле нее. Познакомился через мои „литературные четверги", о которых несколько раз писал. Гингер приходил на них регулярно со своей женой поэтессой Анной Присмановой. Это была красочная, оригинальная чета. Нельзя сказать, чтобы красивая, наоборот. Гингер был с виду типичным провинциальным евреем, Присманова – худой, нескладной женщиной с припухшей правой щекой (Георгий Иванов подшучивал: „Мать грозит детям – не застудите флюс, на всю жизнь останется". Что-то вроде осталось и у Присмановой.) Жили они душа в душу, хотя всегда, когда я их видел, спорили. Не о пустяках, а о „высоких материях": о стихах, о поэтах, о той или иной вышедшей книге. Гингер – спокойно, Присманова – взвизгивая и порой возмущаясь, но спор всегда оставался на какой-то, я бы сказал, „моральной" высоте: спорить спорили, но

как спокойствие, так и взвизги пронизывала внутренняя гармония. Так бывало и на моих „четвергах", и по средам в их небольшой квартирке, когда собиралось несколько друзей-литераторов: Георгий Иванов с Ириной Одоевцевой, Георгий Адамович, Ю. Бек-Софиев, иногда Георгий Раевский, поэтесса Можайская. У них же я встретил в 1957 г. и Зинаиду Шаховскую, которая, только что вернувшись из Москвы, привезла и читала еще неизвестные на Западе (да и в СССР лишь в узком кругу), стихи Пастернака из „Доктора Живаго". Достала их Зинаида Шаховская „по блату" и провести их было настоящим подвигом, потому что, попадись она с ними, – началось бы настоящее расследование, грозившее неприятностями их привезшей и катастрофой для передавших.

Поэтому и вечер в этот день похож был на конспиративный: присутствовали, не считая хозяев и „главного действующего (читающего) лица", только Адамович, Можайская и я. Какое-то еще время нужно было хранить тайну. Присманова несколько раз прерывала чтение восторженными взвизгами „Гениально! Гениально!" Но Адамович стихи не оценил, предпочитая Пастернака периода „Сестра моя жизнь", и одобрительно отметил лишь повторение „Свеча горела на столе, свеча горела".

Из непротивления и буддизма Гингера не надо выводить, что он был какой-то смиренной размазней. Далеко нет! В нем жило настоящее рыцарское мужество. Он любил силу, здоровье, смелость. Одно из его лучших стихотворений „Имя" посвящено французскому летчику-герою Гинемеру, погибшему в воздушном бою в 1917 году. Там есть такие строки:

Я люблю на меня непохожих:
пехотинца, месящего грязь,
и лубочного всадника тоже
под шрапнелью держащего связь.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Не солдат кто других убивает,
но солдат кто другими убит,

только жертвенность путь очищает
и душе о душе говорит.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пусть я буду пустой чужестранец,
но могу я тебя восхвалить,
слабый: туберкулезный румянец,
сильный: воли вощеная нить.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высекая мечтой лапидарной
в камне сердца – из выспренных сфер
три луча из земли благодарной:
Гвинемер, Гвинемер, Гвинемер.

Или другое, „Факел", где он описывает выбившегося из сил, несущего эстафету, бегуна:

Он бежит, совсем уже кончаясь,
припадая к матери сырой,
и молчит, почти совсем отчаясь,
зрителей сочувствующих рой.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На траву он валится, распятьем
руки он раскидывает...

И еще, чтобы портрет был полным, о самом себе, в том же стихотворении:

Все мы гости праздника земного,
в землю мы воротимся домой.
Торжеству квадратная основа –
Я, мой сын, мой внук и правнук мой.
Я хочу тебя увидеть, правнук,
не хочу я скоро умереть.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ни аскетом, ни святошей Гингер не был. Он был исключительно целостным, правдивым и к тому же предельно

скромным человеком, не обманывавшим не только других, но – что много, много труднее (по собственному опыту знаю) – самого себя. И в этом смысле ему была присуща какая-то святость.

Но он все же был человеком и, как всякий человек, имел страстишку; таковой был покер, „совершавшийся" раз в неделю, в пятницу вечером. Для него это был священный вечер: никакая сила, никакие обстоятельства не могли удержать его дома в эти часы. Игра иногда оканчивалась плюсом или минусом в несколько сот франков, что для того времени и для среднеэмигрантского уровня было не мало, и он вел строгую „бухгалтерию", подытоживая к концу года результаты, которые колебались какими-то десятками франков. Словом, покер приятно щекотал нервы и дорого не стоил.

Когда я его знал, он работал корректором, но где? – уже не помню. Русский же язык, правописание и пунктуацию знал превосходно. И здесь вспоминается один „анекдот". В рукописи сборника стихов, который должен был выйти в издательстве „Рифма", руководимом бывшим редактором знаменитого „Аполлона" С. К. Маковским, находилось одно стихотворение, „Лоно", с такой строкой: „вернулся скуден к матерному лону". Маковский счел слово „матерному" недопустимым для стихотворения. Гингер, ссылаясь на „Даля" и на „Грота", настаивал и не сдавался. Тогда С. К. отправил ряду литераторов (Зайцеву, Ремизову, Адамовичу, Георгию Иванову, Смоленскому и кому-то еще) циркулярное письмо (не называя, конечно, автора), с просьбой высказаться о тяжбе. Определенно положительно высказался только Ремизов, Адамович колебался, все же остальные были на стороне Маковского, который все же покорился (думаю, из-за „языкового" авторитета Ремизова), и слово „матерное", в смысле родного, материнского, получило право гражданства в „Рифме". К слову сказать, никогда и ни при каких обстоятельствах Александр Самсонович не произносил бранных слов.

И любил он тоже не только смелость, решительность и силу. Его завораживало и религиозное горение, зачастую в сла-

бых, болезненных телах. Пример – его стихотворение „Доверие”, посвященное „Маленькой Терезе”, монахине Кармелитского монастыря Лизьё (во Франции), умершей 24-х лет от туберкулеза, которую Церковь причислила к лику святых:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сюда Тереза, умершая рано,
мне смертному на помощь поспеши;
явись благоприятною охраной
в ночи, в ночи, во мгле, в глуши, в тиши.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но ты, чахоточная королева,
пребудь с рабом, к слепому низлети,
оборони от грусти и от гнева
и руку горя властно отврати.

Это было написано в 1944 году. „Рука горя” от Гингера отвращена не была: во время оккупации немцами была арестована его мать, депортирована в Германию, где и погибла. Самому Александру Самсоновичу иногда приходилось укрываться у знакомых. Желтой звезды он не носил не потому, что скрывал свое еврейское происхождение, но, как мне объяснил его сын, считал недопустимым делить людей по расам, как собак или других животных. Мать же, несмотря на уговоры, звезду носила.

В 1960 году после долгой легочно-сердечной болезни скончалась жена. Для А. С. это было больше, чем ударом. Только встречая его после смерти Присмановой, я понял, что жить – именно ж и т ь, а не существовать – они могли лишь вдвоем. Они не только дополняли, но и осуществляли друг друга: их души были близнецами. Стихов Гингер уже не писал (насколько знаю), не смеялся, весь ушел в себя, в своё горе. Да и прожил всего пять лет. Заболел: врачи говорили ему, что у него какие-то „золотые стрептококи”. Что это – ни он, ни его друзья, ни, конечно, я – не знали. Потом узнали, что это был попросту общий рак. Ему было 67 лет.

В заключение я позволю себе воспроизвести in extenso одно из лучших его стихотворений, наиболее полно характеризующее его внутреннюю сущность – „Тибетскую песню":

Хвала вам, шесть концов: Восток, Юг, Запад, Север,
Зенит, Надир;
пусть будет мир для всех: для ангела, для зверя
пусть будет мир.

Я одолел подъем дороги нетенистой –
вот верх горы:
привет вам, шесть концов, с вершины каменистой
земной коры.

Как все, кто до меня стоял на перевале,
я вниз гляжу
пред спуском – как и те, что здесь перебывали –
я положу

на кучу камень мой. Хвала живущим, жившим
вблизи, вдали –
на грани облаков свой камень приложивших
к трудам земли.

## ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ МАМЧЕНКО

С Виктором Андреевичем Мамченко меня связывала прочная, хотя и короткая дружба. Потому что, по-настоящему, сдружился с ним всего года за два до его страшной болезни (с ним случился удар, он лишился дара речи, не мог ходить и в таком состоянии, оставаясь со свежей головой, прожил еще пятнадцать лет) и потом, из-за моего отвратительного порока, его больше не видел. Отвратительного потому, что у меня не хватает сил видеть безнадежно больного человека, будь он даже моим отцом или матерью. По всей вероятности, это нечто вроде комплекса, который Ясперс назвал бы Grenzsituation, „пограничным состоянием": таким, когда видишь человека в безнадежном положении, но ничем не можешь помочь.

С первого же дня знакомства я почувствовал в нем совершенно исключительную личность в смысле абсолютной честности с самим собой и столь же абсолютной открытости к другим, что, естественно, требовало и от других такой же открытости к нему. Он происходил из простой семьи, 19-лет-



ним юношей в 1920 г. был отправлен в Тунис, где работал грузчиком и маляром (маляром он работал и когда я с ним познакомился), вернулся в Париж в 23-м. Лишь впоследствии я узнал, что он был близок со всем интеллектуально-литературным Парижем, а умнейшая и столь же ядовитая Зинаида Гиппиус считала его своим „другом № 1", говорила, что он ей напоминает святого Иоанна Креста, и посвятила ему свою поэму „Последний Круг". К сожалению, я Зинаиды Гиппиус не знал, но от ее знавших заключаю, что в ее устах оценки такого рода являлись редчайшим исключением. Так же впоследствии узнал, что под конец жизни З. Г. в Викторе разочаровалась, так как он „уже не соответствовал ее идеалам". Для меня же это оказалось подтверждением моего „восприятия" Виктора, ни с какой стороны не сочетавшегося с морально-психологическим обликом З. Г., который у меня создался от чтения ее произведений и рассказов о ней.

Как же передать душевно-духовный облик В. А. Мамченко, выступающий теперь „сквозь смерть" передо мной? „Вижу" его насквозь русским человеком, одним из „русских мальчиков" Достоевского, „по-русски" ищущим правду и „по-русски" верящим в ее торжество. Так же он смотрел и на Советский Союз, провидел в нем „ту же вечную Россию" и, несмотря на все творившиеся там ужасы, твердо верил, что в конечном итоге он завершится той же „вечной Россией". И здесь у меня с ним обнаружилось первое и единственное серьезное разногласие.

В одном из моих писем (переписка у нас завязалась довольно внушительная), а, может быть, и в статье (уже не помню) я написал, что избавить от коммунизма Советский Союз может лишь атомная бомба на Кремль. (Теперь я уже давно так не считаю, но был в моей жизни и такой безобразно-безответственный период.) Само собой, что такого человека, каким был Виктор, это не столько возмутило, сколько обидело *за меня:* ему было больно, что человек, которого он любил и уважал, мог *так* думать. Я аргументировал мою позицию броской фразой, что „абсолютное зло может

быть побеждено лишь абсолютным злом", для Виктора же была нестерпима одна лишь мысль, что атомная бомба означала бы смерть сотен тысяч невинных людей. И насколько же он был прав!

Во всем же остальном – во взглядах на искусство, смысл и цель жизни, оценок наших общих знакомых – насколько мне помнится, разногласий не было. Он был хорошим, хотя и не всегда ровным поэтом, выпустил семь сборников стихов, вдохновленных темой Любви, Жизни и Смерти, пропущенных сквозь призму его собственной этики Абсолютного добра. Его стихи, особенно за их подкупающую правдивость, ценили такие строгие „критики", как Георгий Иванов и А. Гингер, с которыми он прочно дружил. (Г. И. даже нравились, как он их называл, „неуклюжести" Мамченко.) Вот одно из его стихотворений, по-моему, без „неуклюжестей" и крайне характерное для Виктора:

Я болен, кажется. Уроды
Со всех сторон теснят меня,
Чтоб я признал лицо свободы,
Ключом тюремщика звеня.

Она со мной: среди неволи,
Среди железа и камней, –
Люблю ее до светлой боли
И болью жалуюсь я ей.

Что, в сущности, это значит? Только лишь то, что настоящий человек всегда свободен и что навязанная силой (и такое бывает) свобода, как правило, превращается в тюрьму, иногда внутреннюю, потому что и такое тоже бывает.

„Стены" этой „тюрьмы" он видел в штампах и „прочих пошлостях" эмигрантских политиканов и литературоведов, „получивших право убежища в свободном Западе" и „расправляющихся с талантами на основании литературных предрассудков, вывезенных ими с задворков старой России" (из письма ко мне) : дело касалось разбора стихов С. Рафальско-

го и их резкой критики. Сам он был большим почитателем Пушкина и Тютчева, чувствовал себя близким к Мандельштаму и Ахматовой, в частности, ее „Реквиему", что понятно: ведь „Реквием" – свобода в тюрьме.

Вспоминается наша поездка на моем мотоцикле в Шартр (в который раз! но с ним вместе – в первый), осмотр знаменитого собора, со столь же знаменитыми (знатоки говорят, что такого синего цвета больше нигде нет) витражами и на обратном пути скромный пикник на зеленой тенистой полянке. Что меня тогда поразило в нашем aller et retour, это его одинаковый энтузиазм перед произведением искусства (в сущности, человеческих рук) и произведениями природы. Он видел в них и потом мне об этом писал, какое-то глубинное тождество. Мне кажется – и думаю, что не ошибусь, – что он искал и хотел найти все соединяющую гармонию там, где различны и природа (Гималаи и степи), и люди. О чем, точно, в эту поездку мы разговаривали, конечно, не помню. Был ли Виктор таким же пацифистом и непротивленцем злу, как его друг Гингер? Не думаю. Александр Самсонович был более рационален (не в смысле тупоумных позитивистов, конечно), Виктор – более мистичен (св. Иоанн Креста!), и недаром он интересовался Яковом Беме и мейстером Экхартом. И если Мамченко занимался малярным делом, то Беме – сапожным ремеслом.

Но он был и очень добрым человеком и из своих скудных заработков, как мог, помогал нуждающимся товарищам. Тем же, кто не знал довоенной „русской" Франции и, в частности, Парижа, скажу, что положение в ней иностранцев не имело ничего общего с теперешним: жертвами безработицы, особенно во время кризиса 30-х годов, были прежде всего иностранцы, права на работу выдавались с большим трудом, а на заводах и предприятиях существовала обязательная норма не больше 10 или 15%, точно уже не помню. Малярство и шоферство (на такси) являлись каким-то чудом, своего рода „свободной профессией", из-за которой и выживали русские. Виктор же кроме того давал уроки русского языка, правил рукописи своих собратьев по перу и в

1936 году организовал „Союз молодых русских поэтов и прозаиков". Участвовал ли он в какой-нибудь политической организации, – не знаю, убеждений же был скорее левых, но левых типа тогдашнего Бердяева, видевшего и „правду и ложь коммунизма".

Останавливаться на этой теме не стану, она слишком сложна и глубока для людей такого порядка, каким был Виктор Мамченко, человек исключительной прямоты и правдивости, к тому же с немалым философским образованием, и, как я уже заметил, знавший всю тогдашнюю русскую элиту, за исключением мракобесов той или другой стороны. Вот почему он мог написать:

Мне кажется, наперекор всему,
Что счастье будет здесь, в борьбе и славе,
Что этот дом, похожий на тюрьму,
Дворцом восстанет в солнечной оправе,
Сады и рощи – вместо улиц узких,
И много соловьев – как наших русских.

После удара в 1967 г. он прожил 3 года в своем убогом домике в Медоне (в окрестностях Парижа), а после смерти жены – еще 12 лет в доме Красного Креста в Шель (тоже в окрестностях Парижа, но немного дальше). И все эти 12 лет ежедневно (пропустив буквально за все это время, и то по болезни, лишь несколько недель) к нему ездила из Парижа его верный друг Е. В. Г. Здесь мне хочется отметить этот настоящий христианский подвиг (представьте себе *каждый день* в течение 12 лет!). И это она засвидетельствовала мне, что, будучи не в состоянии двигаться и говорить, Виктор все э т и (не знаю даже, как их назвать) годы был в полном сознании, никогда не жаловался на свое состояние, с вниманием и любовью выслушивал к нему приезжавших, показывал (как мог), чтобы ему рассказывали о происходящем, интересовался их жизнью, событиями, политикой.

Скажу только, что в меня это не вмещается, я просто не могу представить себя на его месте и не могу себе объ-

яснить, понять, для чего столько тихих, но, с другой стороны, столь страшных страданий потребовала от него судьба, его карма. Я знаю и верю, что „мысли Господни – не наши мысли, ни наши пути – Его пути”, поэтому и вижу в этом тягчайшем испытании, выпавшем на долю Виктора, Господнее избранничество. Пусть страшное, пусть непонятное моему ограниченному рассудку избранничество, но все же избранничество ГОСПОДНЕЕ. А какими путями ведет Бог человека – неисповедимо для человека.

Скончался В. А. Мамченко в декабре 1982 года.

## СОФИЯ ЮЛЬЕВНА ПРЕГЕЛЬ

Начало 50-х годов. Большой зал Русской консерватории в Париже. Очередной литературный вечер: поэты читают свои стихи. Какие стихи и кто их читал, – совершенно не помню. Запомнилась – и крепко – лишь одна поэтесса, и то не стихами, но тем, как она их читала и какой была сама. А читала энергично, резко, отчеканивая каждое слово. Видом же напоминала Муссолини: такой же нос, такая же волевая нижняя часть лица. Муссолини я никогда не видел, помнил лишь его фотографии с энергично повернутой головой.

Такой мне показалась София Юльевна Прегель, и внешнее впечатление того вечера осталось и до сих пор. Знакомились мы очень долго. Долго в том смысле, что почти не встречались. Она была в левом литературном лагере (А. Ладинского, В. Корвина-Пиотровского, Вадима Андреева...), я – в правом (Георгия Иванова, Ирины Одоевцевой, Смоленского...). В те годы эти политические различия, хотя и не бушевали, но чувствовались.

„Различия" измерялись отношением к Советскому Союзу, и здесь необходимо маленькое отступление. Доставшаяся

ценой двадцати миллионов жертв, неисчислимых испытаний русского народа победа, сталинское „Братья и сестры!" — породили в кругах русской эмиграции сумасшедшие (но казавшиеся вполне реалистическими) надежды: пролитая кровь очеловечит режим. Так думали В. Маклаков, С. Маковский, Г. Адамович, А. Ладинский, В. Андреев и еще многие другие. Первые трое скоро одумались, Ладинский и Андреев вернулись. Непоколебимыми оставались Б. Зайцев, В. Смоленский, Г. Мейер... Лично я наверняка взял бы советский паспорт, если бы советское посольство стало выдавать паспорта сразу же после ухода немцев. Но выдача началась, как помнится, лишь через полгода, когда стало ясным, что в „стране советов" решительно ничего не изменилось. И таким образом, я был спасен.

София Юльевна Прегель родилась в 1904 году в Одессе и до конца своих дней (1972 год в Париже) осталась одесской патриоткой. Подчеркиваю — одесской. Для примера: мой отец был одно время товарищем председателя орловского окружного суда и считал русский суд после реформ Александра II самым совершенным и гуманным в мире. В эмиграции он не столько тосковал по прежней России, сколько по ее суду. Он был „патриотом русского суда".

В случае С. Ю. была и какая-то тоска по родине, идентифицировавшаяся с Советским Союзом. И было странно, что она, ставшая из-за своего многолетнего пребывания в Соединенных Штатах американской гражданкой, политикой не занимавшаяся, ни разу не удосужилась съездить в СССР. Я несколько раз спрашивал ее — почему? И никогда не получал ясного ответа, сводившегося к — „как-нибудь соберусь", но чувствовалось, что не соберется. Здесь сошлюсь на себя: я с 13-ти до 19-ти лет прожил в Константинополе или в его окрестностях, кончил там среднюю школу и всегда с грустной нежностью вспоминаю это время. В Константинополе остался мой отец и моя belle-mere, ставшая моей второй матерью. Я тоже никогда из Парижа в Константинополь не ездил, хотя были возможности и предлоги. Почему? Потому, что знал, что уже не найду там моей детско-юношеской об-

становки, среды, ambiance. Я боялся пропасти между воспоминаниями и новой действительностью.

Софья Юльевна была сложной натурой: в ней сожительствовало – судите, как хотите, – немало противоречий или тенденций: и большая доброта, и твердая непреклонность, и еврейство, и русскость, и понимание, и нетерпимость. Так, ее отталкивание (из-за нацизма) от немцев не позволяло ей (любительнице музыки) ходить на концерты, на которых дирижировал Караян*. Не выносившая антисемитов, она неоднократно помогала писателям и поэтам, слывшим антисемитами.

Живя безбедно, но не богато (ей помогал ее состоятельный брат Б. Ю. Прегель, у которого были какие-то крупные дела в США), она раз в неделю ходила прислуживать (подавать и убирать) в дом для престарелых евреев и, конечно, бесплатно; любила приглашать в рестораны писательскую братию.

Она сама писала стихи, и при жизни было издано семь сборников. После ее смерти брат издал восьмой, состоящий в большинстве из набросков. В нем есть такое четверостишие:

Только б жизнь не начать сначала,
Ту, что так нелегко прожита,
Я лечу, меня укачала
Пустота, пустота, пустота.

Жизнь, конечно, была нелегкой, но не в материальном плане.

Не ладилось что-то внутри. Одно время редакция „Русской мысли" помещалась недалеко от ее квартиры, и она приблизительно раз в неделю заходила к нам и приглашала меня в ресторанчик. О чем мы говорили? „За жизнь", как выражался Адамович. О себе рассказывала мало, зато „перемывали косточки" (но не зло) собратьев по перу. Думаю, что ее грусть („пустота") отчасти происходила из-за того,

* Караяна некоторые упрекали в нацистских симпатиях при Гитлере.

что ее поэзия, в которую она вкладывала свою душу, не очень ценилась такими тогдашними авторитетами, как Адамович и Георгий Иванов. Но, что делать? – поэзия, действительно, была средней или, как у нас говорили, „на уровне". Да и личная жизнь, кажется, была не очень удачной. Ее первого мужа я не знал. В Париже она вышла третий раз замуж за адвоката И. Равницкого, чудесного, но бесцветного человека. Но С. Ю., безусловно, мечтала о „большем". Поговаривали, что она была безнадежно влюблена в одного из наших литературоведов.

Мечтала же о „большем" не без основания. Она близко знала Томаса Манна, с которым вела интенсивную переписку, знала и ряд других выдающихся людей. В Нью-Йорке издавала ежемесячный толстый журнал „Новоселье", в котором сотрудничали Бунин, Теффи, Варшавский, Слоним, Адамович... словом, почти весь тогдашний русский эмигрантский Парнас. Издавала профессионально и была, по словам всех „обитателей" журнала, замечательным редактором. Мне же говорила: „Нужно заботиться не только о читателях, но и о сотрудниках, их уважать и за ними ухаживать, что не значит – печатать все, что принесут. Мне если бы даже сам Толстой принес неподходящую для журнала вещь, я так бы ему и сказала и принесенного не напечатала бы". И, конечно, не напечатала бы.

Я заметил, что С. Ю. в своих отношениях с литературно-общественным миром Парижа „мечтала о большем", то есть считала, что ее недооценивают. Но это значит, что, быть может, она себя, свою роль и свое значение переоценивала. Что-то и от этого, безусловно, было, тем более что знавшие ее относились к ней хорошо, но больше как к человеку. Мне же было непонятно, почему и с людьми с заведомо плохой репутацией, она поддерживала почти дружеские отношения. Не может быть, чтобы почему-либо она их опасалась. (Таким, к слову сказать, „боязливым" был М. А. Алданов: он был предельно вежлив и учтив решительно со всеми, органически опасаясь, что про него могут сказать что-либо дурное.) Так С. Ю. я довольно часто встречал у Крымова, которого

она, конечно, не могла ни уважать, ни любить. Ради Б. В. Крымовой, которая была еврейкой? Но еврейство Крымовой ни в чем и никак не проявлялось, да и сама она не чувствовала себя еврейкой, что, в принципе, для таких натур, как С. Ю., должно было бы быть невыносимо. Она обиделась даже на меня за то, что я ей сказал, что, увидев в первый раз Алданова, был удивлен, насколько он красив. „Почему вы решили, что евреи не могут быть красивыми?” – с явным раздражением спросила она, и потом несколько раз мне об этом напоминала, несмотря на наши искренне дружеские отношения.

Я сказал, что первых двух мужей С. Ю. не знал, не знал и ее отношений с ними. К И. Равницкому она была скорее равнодушна, хотя, когда он заболел, заботилась о нем с большой нежностью. Но был человек, в которого она была влюблена в самом высоком смысле этого слова. Это был ее брат Борис, в нем она видела чуть ли ни сверхгения и посвятила ему большую семейную повесть „Мое детство”. Уже с самого младенчества он выведен удостоенным всех даров природы: умом, талантами, обаятельностью и т. п. Повесть была рассчитана чуть ли не на полторы тысячи страниц и осталась неоконченной. После ее смерти Б. Ю. издал уже написанное в трех внушительных томах. Я их бегло прочел. Действие происходило в Одессе в глубоко традиционной еврейской семье. Есть много ярких фольклорных страниц, посвященных еврейским обычаям, традициям, праздникам. Но надо было бы все порядочно подсократить. Брат этого не сделал (всегда мог бы кому-нибудь поручить), не знаю, из опасения ли, что сделают неумело или из уважения к памяти сестры: пусть будет так, как она написала, кто заинтересуется – прочтет и с длиннотами.

Он мне дал для раздачи экземпляров тридцать. Многие прочли все три тома с увлечением, именно из-за любовного описания быта. Потом Б. Ю. попросил меня составить список всех, кому София Юльевна помогала. Я насчитал около десяти человек, и он дал мне довольно крупную сумму, чтобы им раздать.

Перелистывая последний сборник ее стихов, нашел такую строфу и думаю, что она довольно точно передает ее внутренний мир, к которому она никого не допускала:

Все проглядела, не узнала,
Ждала – и бледный день иссяк,
И мгла крылом затрепетала,
И потерял огни маяк.

Ждала – и не было сигнала.

## СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МАКОВСКИЙ

Бывший редактор знаменитого петербургского „Аполлона" Сергей Константинович Маковский на моих „четвергах" не бывал, и познакомился я с ним в начале 50-х годов. Я уже несколько раз отмечал, что до войны к литературе и к литераторам не имел никакого отношения, как и стихи, которые я писал для приятелей и для приятельниц от поэзии были так же далеки, как луна от солнца, да и темами их были – как положено „буйной молодости", романтические торжества и катастрофы.

Точно я уже не помню, где и по какому случаю познакомился с С. К., а затем вышло так, что довольно часто с ним встречался. На „четвергах" же, если мне не изменяет память, о нем почему-то не говорили даже тогда, когда „четверговцы" по тому или иному случаю „перемывали косточки" отсутствующим. Теперь же с почти тридцатилетней „перспективой" думаю, что это было по двум причинам: не считая И. А. Бунина, он был все же значительно старше остальных четверговцев и к тому же довольно замкнутым человеком.



Немного даже высокомерным, на что некоторое право, безусловно, имел. Все же – редакторство самого блистательного литературного журнала „блистательного Санкт-Петербурга", журнала, в котором сотрудничала элита блистательного Серебряного века русской культуры! К этому прибавлялась довольно внушительная эрудиция и иностранные языки вплоть до латыни и древнегреческого.

Вдобавок – поэт. И вот здесь, быть может, какая-то „собачонка" и зарыта. Поэт он был средний, хотя и упорный (восемь сборников!). Думаю, что поэтом он считал себя настоящим, но чувствовал, что другие, и в первую очередь Георгий Иванов, таковым его не почитали. Не высоко ставили его поэзию и Смоленский, и Одарченко, и Гингер. И безусловно, это, быть может, даже подсознательное ощущение порождало в нем некоторое отчуждение.

Случайное обстоятельство позволило мне довольно хорошо разобраться в этом человеке. Одни из моих знакомых Л. И. Чеквер и его жена поэтесса Ирина Ясен предложили мне издавать сборники русских поэтов-эмигрантов. У Чеквера была в Нью-Йорке какая-то бухгалтерская контора, дававшая ему довольно приличный заработок, и жена уговорила его пожертвовать необходимую сумму долларов на издание поэтических сборников. Л. И. с радостью согласился, и издание было поручено мне.

Но я быстро сообразил, что было бы смешно, чтобы сборники издавал я, когда в Париже находится Маковский, больше чем профессионал такого дела.

Так родилась „Рифма" и больше двадцати выпущенных ею стихотворных сборников. Жил в то время С. К. на маленькой улочке возле знаменитой „площади Звезды", нанимая комнату у своей приятельницы А. М. Элькан, в то время секретарши „левого" Объединения писателей и журналистов, членом которого был Маковский. Жил он там, как в своей семье.

Квартира была большой, так что иногда в гостиной легко собиралось человек десять-двенадцать, говорили о „текущих событиях", но больше, конечно, о литературе и о стихах. Со-

бирались Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Терапиано, Смоленский, Раевский, Ладинский, Гингер, Присманова (может случиться, что кого-нибудь позабыл) и я. Помню один такой вечер, на котором я дерзнул прочесть главу из поэмы, которую писал и которая называлась, ни больше ни меньше, как „Поэма о XX веке"! Писалась она, как тогда мне казалось, в самом модерном стиле. Чтение продолжалось недолго, через 3-4 минуты Ю. К. Терапиано хлопнул кулаком по столу и возмущенный крикнул: „Довольно слушать этот бред!".

Я был огорошен, тем более что перед этим читал ее Руманову, и он весьма одобрительно (думаю, что исключительно из-за своей доброты и хорошего отношения ко мне) о ней отозвался. Я вскипел („эх ты молодость, буйная молодость"!) и инстинктивно (до сих пор не понимаю, как это у меня вырвалось) отпарировал: „Но как же тогда вы слушали беспомощную версификацию Маковского!" Вообразите, что затем произошло. С. К. вскочил и, не сказав ни слова, ушел в свою комнату. Ушел, конечно, и Терапиано. Присманова принялась меня утешать. Другие обсуждали – кто кого больше обидел. Я же, как всегда, быстро остыл и объявил, что напишу извинительное письмо, что и сделал.

Теперь же – „сквозь смерть" и тридцать лет – не могу вспомнить без стыда этот безобразный (с моей стороны) инцидент. Письмо я написал, а С. К., как настоящий джентльмен, меня искренне простил и никогда больше о случившемся не вспоминал, а в 1953 году подарил мне очередной сборник своих стихов с трогательной надписью. Когда дарил, рассказал мне смешную подробность – неделю назад он послал сборник своей матери в Ниццу (ей тогда было около ста лет) и получил в ответ письмо: „Нашел чем в старости заниматься. Если есть лишние деньги, присылай их мне!".

О Серафиме Павловне Маковской ходила масса анекдотов. Вот другой: сидела как-то она со своими подружками-старушками, вспоминая свою молодость. И вот ей задают вопрос – скажите, С. П., а сколько у вас было любовников? (А была она очень хороша: полунагая русалка на

картине Константина Маковского была списана с нее). Долго не дожидаясь, С. П. отпарировала: „Не спрашивайте. Завидовать будете!”. Умерла она 103 лет, даже не от болезни, а споткнувшись, ударилась виском об угол комода.

В то время я работал в гукасовской типографии „Наварр”, где писал политические обзоры для „Русской мысли”, которые сразу же сдавались в набор. Когда в газете были статьи С. К., он приходил в типографию и сам их корректировал, чтобы не было ни одной опечатки, ни одной пропущенной запятой.

Приходил, садился, ему приносили оттиск набранной статьи, он нагибался над ним, поднимал очки на лоб, прищуривал левый глаз, и казалось, что из открытого глаза пучком вырывались лучи, сразу захватывая всю гранку. Опечатки и ошибки находил моментально, словно они, как блохи, прыгали в его открытый глаз. Любил искать ошибки и у других. Не говоря уже о Достоевском, который раздражал его своей „небрежностью”, он вылавливал их у Толстого и несколько нашел у Бунина (каких? уже не помню). Экзамен выдержал один только Тургенев, которого, кстати, С. К. очень любил.

Были у него и „несерьезные” стороны. Как-то раз, проезжая на велосипеде мимо дома, где он жил, я почему-то зашел к нему, и он, чуть ли не захлебываясь от восторга, дал мне книгу, требуя непременно ее прочесть, „так как это настоящий шедевр”. Книга была действительно интересная, состоявшая из статей о Дж. Бруно, Абеляре, Авицене и других „героях” средневековья. Авицена был представлен первым психоаналитиком, как излечившим, путем анализа снов, сына какого-то персидского сановника. Когда через неделю я снова встретился с С. К. и заговорил о книге, он пренебрежительно бросил: „Стоит ли говорить о таком вздоре!”. Эпизод как будто не в его пользу. Сначала и я так его истолковал. Но потом, уже после его смерти, вспоминая „вздор”, передумал: ведь он свидетельствовал о чем-то детском в характере С. К., который был способен на какой-то момент восхититься, а затем с таким же энтузиазмом разочароваться, как это часто случается с детьми.

Привлекательной в нем была и его любовь к природе. Он часто ездил в Шату (пригород Парижа) к Крымовым, где оставался ночевать в их большом барском доме. Летом вставал „с петухами", спускался в сад, а оттуда к Сене и так гулял часами. Немало его стихов посвящено природе. Вот хотя бы одно:

Слепительно хорош июньский день,
Цветут луга и пахнут медом травы.
Прошелестят на берегу дубравы,
Чуть зыблется березок тонких тень.

О, благодать! О, вековая лень!
Овсы да рожь, да нищие канавы.
Вдали-вдали – собор золотоглавый
И белые дымки от деревень.

Не думать, не желать... Лежать бы сонно,
прислушиваясь к шороху дубрав
среди густых, прогретых солнцем трав,
и – тишине и синеве бездонной
всего себя доверчиво отдав –
уйти, не быть... Бессмертно, упоенно!

Вспоминается еще одна моя выходка и тоже в связи со стихами. На этот раз она произошла у поэтессы Тамары Величковской. Кто точно присутствовал, уже не помню. Кажется, Чиннов, Раевский, еще человек пять и я. Читали стихи, читал их и Маковский. Стихи были об Италии. Когда при обсуждении дело дошло до меня, я сказал, что „по моему скромному мнению", если Рим, Венецию или Флоренцию заменить Мадридом, Лиссабоном или Барселоной, стихи от этого не изменятся. Маковский, конечно, обиделся, остальные были неприятно смущены и твердо его защищали. Мне же – само собой – досталось по заслугам.

„Все это было, было, было..." больше двадцати лет назад, и, вспоминая подобные случаи, мне по-настоящему становит-

ся стыдно. Ведь перед Сергеем Константиновичем я был пешкой, щенком, плохо воспитанным версификатором. А он сносил, терпел, если и возражал, то всегда сдержанно и вежливо. Ума не приложу – как это могло быть? И мне становится лишь стыднее и обиднее за себя. Но вышло даже так, что я ему за мою несдержанность отплатил и не так уж плохо, хотя, должен признаться, что дорого это мне не стоило, я не вижу в этом моей заслуги и упоминаю лишь в порядке моей перспективы „сквозь смерть", чтобы запечатлевшийся в моей памяти образ человека был возможно более полным.

Первой „отплатой" была передача Сергею Константиновичу „Рифмы", но я уже объяснил, что это случилось потому, что я не рискнул взять на себя редакторство сборников.

Второй – был выпуск его интереснейшей книги „На Парнасе Серебряного века". В то время я был представителем во Франции издававшихся в Мюнхене организацией ЦОПЭ („Центральным объединением послевоенной эмиграции") альманахов „Мосты" и предложил его руководителям издать воспоминания Маковского об „Аполлоне" и его сотрудниках. Уговаривать долго не пришлось – такие воспоминания могли быть лишь рекламой и для ЦОПЭ, и для его издательства. Так что никакой моей заслуги в этом деле не было, разве лишь в том, что я о такой книге подумал. Главное же, что все это было *после* моих неблагопристойных выходок.

Сергей Константинович, конечно, нигде не работал, ни в какие политические организации не входил, не считая сотрудничества в эмигрантских газетах и журналах, за что получал грошевые гонорары. Лишь сейчас пришла в голову мысль, почему он, зная отлично три иностранных языка, не попробовал писать в каком-нибудь посвященном искусству иностранном издательстве? Необходимые для этого связи у него, безусловно, были. Что ему помешало? – не знаю.

Он жил на средства двух своих хорошо устроенных сыновей, которые ему, хотя и не щедро, но совершенно достаточно помогали (но он считал, что недостаточно). Знакомить с ними никого не хотел, уверяя, что люди они неинтересные,

заботящиеся лишь о своем благосостоянии. Была у него и дочь Марина, вышедшая замуж за какого-то богатого иностранца. О ней он тоже говорил мало и нелестно. Как-то, узнав, что он болен, я к нему забежал и застал Марину, нежно за ним ухаживающую.

Почему и какие у С. К. были счеты с его детьми, я, само собой, не знаю и никогда его об этом не спрашивал. Он же не только мне, но и другим довольно щедро на них жаловался. Все же, как ни „скупо" они ему помогали, он имел возможность много путешествовать, несколько раз ездил в Испанию и часто в любимую им (а кто из русских ее не любит) Италию, написав там стихи, о которых я так некорректно отозвался.

Да, поэт он был небольшой, но в сравнении с тем, что иногда сейчас печатается в теперешних толстых журналах, даже довольно престижных, – небо и земля. Вот хотя бы из шестой книги „На пути земном", строки из первого стихотворения:

Есть на пути земном рубеж,
За ним все призрачней земное.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не думать больше... Только быть...
Себя не чувствовать собою.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сквозь эту призрачную тьму –
лучи невидимого света.
И нет ответа ничему,
и все понятно – без ответа.

Судя же по этим строкам, человек он был сложный и, как всякий сложный человек, понимавший, что „нет ответа ничему", потому что „все понятно без ответа", но понятно лишь тому, кто с а м задает себе этот вопрос (так как получает ответ, не могущий быть сформулированным ни в каких словах и ни в каких стихах), а значит и нет смысла делиться с другими ни вопросом, ни ответом.

Но в этом – вся трагедия и все величие человека.

Я же, как всегда, начинаю понимать человека, когда его уже в этом мире нет.

Скончался Сергей Константинович в 1962 году, скончался тихо, во сне. Пришел в три часа с какого-то обеда, лег, уснул и не проснулся. Ему было 85 лет.

## МАРИЯ ВЕНИАМИНОВНА АБЕЛЬМАН

Я в вашем доме гость случайный,
Встречались мы не много раз.
Но связывает нежной тайной
Поэзия обоих нас.

И вы, в своем вечернем свете, –
О, это так понятно мне –
Общаясь с Пушкиным и Гете,
Остались верными весне.

И в этом мире зла и скуки,
Где грусть обоих нас томит,
Вам с нежностью целует руки
Ваш преданный антисемит

– писал в 1964 году в альбом Марии Вениаминовне Абельман Георгий Иванов. Он действительно в некоторых (не очень высокого уровня) эмигрантских кругах слыл анти-

семитом. Зная его довольно хорошо, смею заверить, что и тени подобного не было. Как человек исключительного ума и пронзительной внутренней чуткости, он делил людей не по расам, не по национальностям и не по религиям, а по их человечности, по их духовным качествам. Другое дело, что, „живя с волками", ему иногда приходилось и „по-волчьи выть".

Я тоже встречался с Марией Вениаминовной не много раз, – когда приходил к ее дочери Анне Морисовне Элькан, одно время бывшей секретарем „Объединения писателей и журналистов" в Париже. Это была первая половина 50-х годов, когда в ее квартире жил Сергей Константинович Маковский – редактор знаменитого петербургского литературно-художественного альманаха „Аполлон", трибуны блистательного Парнаса блистательного Серебряного века. Квартира была большая, и раза два в месяц, за чайным столом, там встречались Георгий Адамович, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Георгий Раевский, Александр Гингер, Анна Присманова, Владимир Корвин-Пиотровский (да простит мне Господь Бог, если кого-нибудь позабыл) и я, тогда слагавший лишь малоубедительные рифмованные строки. Теперь мне кажется, что приглашали меня больше из вежливости из-за моих „четвергов", чем из-за моей „поэзии".

Мария Вениаминовна, которой тогда было, вероятно, уже под восемьдесят, на собраниях не присутствовала, но почти всегда, когда большинство гостей расходилось и я оставался с „домашними", – с А. М. и с Маковским (а порой и с Георгием Ивановым), – М. В. выходила подсесть и поболтать с нами.

Что же было особенного в Марии Вениаминовне? Почему она осталась светлым образом не только во мне, но и в памяти всех ее знавших людей, что с такой пронзительной нежностью отметил и Георгий Иванов? Какими исключительными качествами она „блистала"? В привычном смысле этого термина, – никакими. Я никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь говорила или вспоминала плохо, чтобы она на кого-нибудь наговаривала. Не слышал и чтобы она на кого-

или на что-нибудь пожаловалась. Не было в ней ни врожденной, ни привнесенной жизнью бестактности.

Как-то рассказывая о том, как ей с мужем пришлось покинуть Россию (ее муж профессор М. Абельман был придворным глазным врачом, и они жили в Петрограде), она обмолвилась, что выехать им помог Шаляпин, которого она знала больше двадцати лет. Я Шаляпина не знал, но слышал о нем довольно много, и у меня инстинктивно вырвалось: „М. В., как же это Вы, при которой даже грубого слова сказать неловко, могли быть двадцать лет знакомы и даже дружить с таким человеком?" – „А знаете, – ответила она, – Ф. И. никогда при мне даже голоса не повышал". И прибавила: „Ведь грубость, она вызывается".

Мария Вениаминовна была великим меломаном и не только любила музыку, но и знала лично большинство мировых знаменитостей. Я у нее встречал дирижера Клемперера, пианистов Кемпса, Гизекинга и Горовица. С последним было даже так: когда я экспромтом вошел в комнату А. М., у нее сидел довольно плотный человек, я поздоровался, представился, а он сразу же: „Только что звонил в Плейель (известный концертный зал в Париже), и сказал, что, если Марии Вениаминовне не будет места в первом ряду, не буду играть. Я им из Нью-Йорка телеграмму послал. Уверяют, что ничего не получили". Место, конечно, оказалось, и концерт состоялся. Я же быстро ретировался, ибо имел такое же отношение к музыке, как зонтик к рыбе.

Но кроме музыки, у М. В. была еще одна великая страсть – Гете. Она знала почти наизусть обе части „Фауста" и „училась жизни", как она говорила, из его знаменитых „разговоров" с Эккерманом.

Любила, конечно, и русскую поэзию, особенно Пушкина и Блока. У первого ее восхищала его „юношеская мудрость", читала наизусть строки из „Цыган", где Старик после совершенного Алеко двойного убийства, говорит ему:

Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,

Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; – оставь же нас;
Прости! да будет мир с тобою.

– Подумайте только! – говорила она. – Ведь Пушкину было всего двадцать пять лет, когда он это написал: „Оставь нас, гордый человек... Мы не терзаем, не казним...” Да еще просит прощенья и напутствует! – Прости! да будет мир с тобою”. Кто в наши дни способен к таким чувствам? Да и цыгане вряд ли были такими. Но Пушкин! Пушкин! И в двадцать пять лет! Вот каким он по-настоящему был человеком! А ведь отмечают только его ум, гениальность. Но ведь главное – человек. А Пушкин-человек весь в этих строках!

Я, конечно, не помню с точностью слов Марии Вениаминовны, но за смысл ручаюсь.

Ручаюсь потому, что после много и часто думал об этих строках и стал также восхищаться ими, и теперь „сквозь смерть”, больше чем через двадцать лет, они в моей памяти отожествились с этой исключительной женщиной: ведь она сама была такая. Еврейка, выросшая в еврейской семье, она отлично знала о зверствах, творимых гитлеровцами. Но я никогда не слышал, чтобы она сказала что-либо дурное о немцах. Она любила их культуру, музыку, язык. И это мне близко. Я сам боролся с нацизмом, сам в любой момент мог попасть в лагерь, но годы прошли, сами немцы отреклись от нацизма, сами считают его позорной страницей своей истории. Пора ее перевернуть и о ней позабыть.

Были у Марии Вениаминовны и слабости, но и они были очаровательны, и одной из них была ее слабость к С. К. Маковскому (бывшему редактору „Аполлона”). Чем это объяснить? Ведь они были совершенно разными людьми. Он

был замкнутым и даже черствым человеком, на чувства не щедрым. Думаю, что здесь сыграл роль возраст. Из посетителей „салона" А. М. Элькан Сергей Константинович был самым старшим. Возраст других колебался от 50 до 60, и самым „молодым" был я. Кроме того, оба были петербуржцы, оба глубоко образованы и по-настоящему культурны. Маковский же сам был хоть и средним, но все же поэтом и даже в преклонном возрасте красивым, привлекательным человеком, умевшим, когда нужно, по-барски себя вести, чего другим часто не хватало.

Надо все же сказать, что „нежность" М. В. отклика у С. К. не находила, и мы все это замечали, а Раевский даже возмущался – „хоть бы подал вид, пожалел бы старуху". Но вида Маковский не подавал, не подавала вида (своего неуспеха) и Мария Вениаминовна. Она просто по своей душевной бескорыстности, быть может, вовсе и не рассчитывая на какое-то особое отношение к ней С. К., создала для себя из него „кумира", и уже само ее отношение к нему являлось для нее своего рода компенсацией.

Когда „сквозь смерть" стараешься воссоздать образ усопшего, то воспринимаешь его – если так можно сказать – не в „категориях" разума, а в „категориях" чувства, и если „мысль изреченная есть ложь", то с еще большей значимостью это относится к чувству. Вот уж, воистину, „никакими словами, никакими стихами, ни молчаньем, ни криком – ничем" (Смоленский) невозможно передать ощущения, чувства, заполняющие в такие минуты душу. Конечно, такие художники, как Толстой или Достоевский, быть может, и смогли бы это сделать, но мне это не под силу. Поэтому я иногда пытаюсь охарактеризовать человека стихами, какие он любил или какие о нем писали.

Мария Вениамировна Абельман не была тем, что называют „яркой" личностью. Да и я знал ее не близко, но за время моих немногих с нею встреч она оставила в моей памяти, так тонко подмеченный Георгием Ивановым, „вечерний свет". И сейчас мне бесконечно трудно передать, мое настоящее впечатление о ней.

Когда она скончалась (точной даты не помню, вероятно, где-то в конце 50-х годов), ей было уже за восемьдесят, и ее дочь сказала мне, что М. В. хотела быть похороненной по православному обряду. Я передал это пожелание моему другу-священнику о. Александру Туринцеву, который сразу же согласился, тем более что он был с нею знаком и знал ее внутреннюю настроенность. Он объяснил мне, что обычно это не делается, но бывают исключения, и тогда какие-то „детали" обряда пропускаются. Таким образом, последняя воля покойной была исполнена.

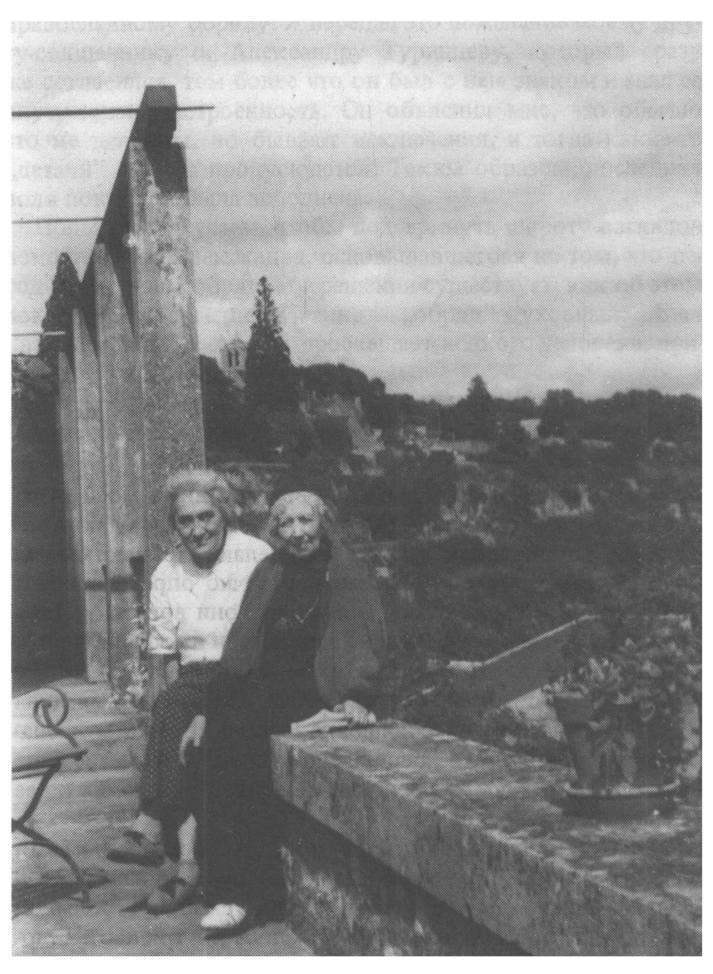
Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть широту взглядов покойного о. Александра, основывавшегося на том, что перед церковным обрядом крещения существует, как об этом повествует евангелист Иоанн, – „обряд" духовный: „Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир" (1, 9).

Не потому ли блаженный Августин утверждал, что „всякая душа христианка"?

## ЕВГЕНИЯ ЮДИФОВНА РАПП

„Мои друзья, мои планеты, – вы, спутники моей судьбы...". Понимаю, что не элегантно начинать главу цитатой из своих собственных стихов. Но делаю это исключение только потому, что оно единственно точно определяет мое отношение к моим покойным друзьям; они воистину стали „спутниками" моей судьбы и не только при их жизни, но и – особенно – после их смерти. Такой была и при жизни и с большей ощутимостью стала после смерти свояченица Н. А. Бердяева Евгения Юдифовна Рапп, с которой я познакомился в 1955 году в „бердяевском доме" в Кламаре близ Парижа, еще в мой „велосипедный период" (я ездил на ее „пятницы" на велосипеде).

Она жила с племянницей Николая Александровича Софией Сергеевной Бердяевой. Дом был просторный, в запущенном (но тем более очаровательном) саду, с большой комнатой, в которой иногда собиралось до тридцати человек учеников и почитателей философа и друзей хозяек дома.



С. С. Бердяева и Е. Ю. Рапп (слева направо)

Е. Ю. была необыкновенным явлением: человеком, живущим в двух мирах одинаково, в нашем земном и духовном. Она оказала немалое влияние на духовное развитие Бердяева (ей даже посвящено „Самопознание").

Вот как пишет о ней в „Самопознании" Бердяев:

„Женя (Е. Ю.) поселилась у нас в 1914 г. и после этого мы и доныне живем вместе. Она была моим большим другом, всегда очень обо мне заботилась. И она была одним из немногих людей, хорошо меня понимавших. У нее редкий ум, необыкновенная доброта, настоящий дар ясновидения, и всегдашняя поглощенность вопросами духовного порядка. Постоянные болезни не мешали духовной напряженности. Это человек необыкновенный, и наши отношения необыкновенные. Ее значение огромно в моей жизни. Наша общая жизнь прошла в духовном общении, и я многим обязан этому духовному общению".

Она его любила и почитала, с необыкновенной душевной теплотой вспоминала о нем и говорила о его философии. Почитал Бердяева и я, и многое у него перенял (хотя лично его не знал) – признание суверенных прав личности в обществе, враждебность ко всякой догматике, равнодушие ко всему родовому и национальному, вечную неудовлетворенность собой. Но у Н. А. было и другое: вечное бунтарство, безоговорочный культ свободы, „над котороый не властен даже Бог"! И сначала мне было непонятно, как со всем этим мирилась Е. Ю. и как при всем этом Н. А. считал ее своим духовным вдохновителем, потому что такой, какой я ее знал, она (в моем представлении) была его полной противоположностью: мягкой, почти никогда не возражавшей, всегда спокойной и благожелательной. В сущности, лишь лет десять спустя после ее необычайной смерти (об этом я еще расскажу) я понял, что происходило все это от ее смиренной мудрости, настоящего душевного равновесия и подлинной христианской любви к людям. Эта любовь позволяла примирять бердяевские религиозные метания и ереси (в былые времена, по всей вероятности, он был бы отлучен от Церкви) с ее глубокой, как мне представлялось, традици-

онно-православной верой. Как-то я задал ей этот вопрос. „В доме Отца нашего обителей много", – ответила она с такой внутренней убежденностью, словно это действительно был ее „дом".

Обыкновенно собрания начинались с ее предложения: „Не хотите ли послушать Николая Александровича?" В первый раз я подумал, что услышу магнитофонную запись какой-нибудь его лекции, и был разочарован, когда вместо лекции Е. Ю. прочла его статью. Читала она тихим, но внятным голосом, приблизительно минут 30-40, после чего начиналось обсуждение. Не всегда, конечно, присутствовавшие были согласны с содержанием статьи, и завязывалась дискуссия, иногда довольно оживленная. Но было поразительно, с каким тактом Е. Ю. соглашалась или не соглашалась с оппонентом, как она уважала свободу каждого человека думать так, как он считает правильным.

На первой „моей" пятнице (уже не помню, по какому случаю, но касавшемуся Н. А.) выступал в то время хорошо известный своею экстравагантностью священник Евграф Ковалевский. Умный, широко образованный, отлично говоривший на нескольких языках. Думаю, что бердяевские религиозные зигзаги были ему близки, потому что его доклад, касавшийся „христианства Бердяева", был блестящ.

Началось обсуждение доклада. Большинство с докладчиком было несогласно. Не могла, конечно, быть с ним согласна и Е. Ю. Но меня уже тогда поразила, если так можно сказать, „мягкость" ее несогласия. К сожалению, я не могу привести в кавычках даже двух-трех из высказанных тогда ею возражений, к тому же только лишь теперь я понял, какой исключительной личностью была Евгения Юдифовна и в каких глубинах духовного мира жила. Вот уж к кому применимо пушкинское „Лед и пламень не столь различны меж собой" или знаменитая „Coincidentia oppositorum" Николая Кузанского.

Когда „официальная" часть „пятниц" заканчивалась (около пяти часов), большинство собравшихся расходилось, а человек десять оставались на чай. Е. Ю. и С. С. были большими

искусницами в изготовлении кондитерских изделий: пирожные, торты, печенья. И вот за этим „русским столом" случались иногда интереснейшие разговоры, всегда оживлявшиеся – в смысле их действительного вкоренения в окружающую жизнь – Евгенией Юдифовной. Припоминаю (не дословно) ее замечания о Хрущеве: „Среди коммунистов есть хорошие люди, но за ними стоят отрицательные силы и их обманывают". Иными словами, „Господи, прости им, не ведают, что творят". – „Да, но Хрущев жестоко гнал Церковь". – „Знаю, знаю, но у меня чувство, что он..." Разговор этот я вспомнил лет десять назад, когда я встретился с женой известного советского поэта в один из ее приездов в Париж (по понятным причинам не могу назвать ее имени). Она сказала мне, что перед ее отъездом Хрущев (уже бывший в опале) позвонил ее мужу и „умолял" его прийти к нему. Тот „нехотя" пошел. Вернулся через три часа, взволнованный и с красными глазами: он ей сказал, что Хрущев „духовно переродился".* На мой вопрос – что же с ним произошло? – отвечала, что не может сказать, „муж приедет, сам расскажет". К сожалению, ни ее, ни мужа я больше не видел.

В другой раз Е. Ю. объясняла заповедь „Не судите, да не судимы будете" примером разбойника, узнавшего в Распятом Христа: только за то, что он понял „и умом, и чувством", что возле него Сын Божий, ему простились все его страшные прегрешения. „А вот мы все, как бы глубоко ни верили, в глубине храним искру сомнения. Не знаю, как другие, но в том, что касается меня, это истинно так".

Однажды в разговоре о перевоплощении, которое категорически отрицал Бердяев как идущее вразрез с его учением о „неповторимости человеческой личности", а я как штейне-

---

* Подобное произошло и с Маленковым. В книге „Они окружали Сталина" Рой Медведев пишет, что о „Маленкове упорно говорят... что он крестился и регулярно ходит в церковь... что его видели в небольшой церкви в Мытищах или в поселке Ильинское, недалеко от Кратово" (сейчас ему 84 года). Случаи с закоренелыми коммунистами-богоборцами Хрущевым и Маленковым исключительно показательны для глубинного духовного процесса, происходящего сейчас в СССР.

рианец защищал, Е. Ю. призналась мне, что Н. А. категоричен был лишь в своих писаниях и спорах, но в глубине души сомневался, а, быть может, даже и признавал. Это я совершенно твердо помню и помню также, что не решился ее спросить – верит ли она сама, зная не только ее ортодоксальную православность, но и абсолютную правдивость.

Само собой, были и простые, малозначащие разговоры, и в одном из них она рассказала смешной анекдот из их жизни во время немецкой оккупации. Почитавшие философию и философов немцы иногда приходили к Бердяеву, и как-то в разговоре с двумя офицерами он сказал, что считает Канта величайшим из философов. Офицеры смутились и... „признались, что никогда с ним не встречались".

Заходили в бердяевский дом и советские люди. Чисто политических разговоров Е. Ю. избегала, но когда разговор заходил о философии Бердяева, он невольно принимал политическую окраску. Иногда доходило до полного расхождения, после чего оставалось тягостное впечатление. „До чего может довести безбожная власть!" – жаловалась Е. Ю. Но бывали случаи и „настоящего окрыления". Так, по ее словам, произошло с одним молодым философом, который о Бердяеве знал лишь, что он был „мракобесом и реакционером, полным религиозных предрассудков". Из рассказа Евгении Юдифовны помню, что, когда она начала излагать ему религиозные основы бердяевской философии, он слушал ее, не перебивая, а ушел „совершенно другим человеком", признавшись, что никогда не предполагал, что христианство является „религией свободы".

Е. Ю. глубоко верила в христианскую миссию русского народа, видела в коммунизме „необходимый искус", через который он должен пройти, и как-то раз даже сказала мне, в ответ на мое замечание о десятках миллионов ни в чем не повинных жертв, которыми платит русский народ за этот „искус": „Это потому, что они больше нужны т а м, чем здесь".

В мой предпоследний приезд в Кламар – должно быть, в начале 60-х годов, – вышло так, что к чаю остался я один.

Прощаясь с Евгенией Юдифовной, я, как обычно, сказал: „Значит, до следующей пятницы".

– Нет. Меня уже здесь не будет. Я у х о ж у. Весь архив Н. А. я привела в порядок. Все, что он завещал сделать, сделала. Здесь я больше не нужна.

(Эти слова привожу почти дословно, настолько четко они отлились в моей памяти.) И, странно, при всей своей необычности, они, поразив меня, не вызвали во мне ни удивления, ни даже невольного протеста, но как бы сковали своим „реализмом", чем-то вроде магической очевидности, запретившей возражать. Ну, как возражать человеку, который вам скажет, что завтра он уезжает в Лондон или в Нью-Йорк? А она сказала об у х о д е в т о т м и р, словно речь шла именно о простом путешествии. Я заметил, что присутствовавшая при прощании София Сергеевна оставалась совершенно спокойной и как будто не огорчалась. По всей вероятности, она давно об этом знала, и между ними все было оговорено. Мне не пришло в голову спросить, в какой день э т о случится. Я только понял, что до следующей пятницы приходить не надо.

После необычного этого прощания, помню, вернулся домой совершенно спокойным. Потом, уже много времени спустя, я часто думал об этом невероятном факте, вплоть до того, что приходила мысль: да не приснилось ли мне все это, не почудилось ли? Нет, это было наяву и вполне реально. К тому же, я стопроцентно аллергичен ко всем подобным вещам: гипнотическим, парапсихическим и т. п., хотя столь же стопроцентно верю в их реальное существование. Единственное объяснение, точнее, предположение – это, что таковым было желание Е. Ю. Но тогда рушится моя „аллергичность". Не знаю. Передаю, как случилось. Толкуйте, кто как хочет.

Когда же в последний раз я приехал в Кламар, дней через десять (в „пятницу" не решился), С. С. мне сказала, что накануне кончины „Женя убрала свою комнату, попрощалась со мной, легла и уже не проснулась". И тоже сказала просто, без слез, как само собой разумеющееся.



## ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИЛЬИН

„Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия", – сказал ап. Павлу правитель Фест (Деян. 26,24). Этот знаменитый упрек великому апостолу можно было бы отнести и к Владимиру Николаевичу Ильину. Но тут сразу же напрашивается и другое. Основывая свою систему преподавания, Р. Штейнер советовал будущим педагогам учить детей не только „запоминать", но и „забывать". Но забывать Ильин не умел. Стоило ему хоть бегло прочесть книгу, он запоминал ее навсегда. А своего любимца Гоголя знал чуть ли не наизусть: во всяком случае, на лекциях, докладах или просто в разговоре по памяти цитировал целые страницы из „Мертвых душ" или „Вия". Да только ли Гоголя! На одном вечере, посвященном Толстому и Достоевскому, защищая автора „Анны Карениной" от творца „Бесов", от слишком резких нападок за его „извращенное христианство", Ильин напомнил о сцене, где умирающего старика Верховенского спешно вызванный священник с „чашкой чаю в руках" начал напутствовать заученными

штампами, только смутив присутствовавших. В истолковании Ильина это было издевательством над Церковью.

Однажды мы были у нашего общего знакомого А. В. Руманова (бывшего представителя сытинского „Русского слова” в Петербурге), когда у него сидел некий Татумьян (если я переврал фамилию, буду благодарен тому, кто исправит). Знакомясь с ним, В. Н. тотчас же рассыпался в комплиментах за его докторскую диссертацию по политической экономии! Может быть, он и был известен, лично я никогда о нем не слышал.

Но это не все: после своей смерти В. Н. оставил буквально гору нот сочиненных им опер. В музыке я ничего не понимаю, но мой молодой друг и ученый музыковед А. Лишке, просмотрев некоторые из них, уверял меня, что оперы и интересны, и свидетельствуют о таланте автора, но страдают одним недостатком: слишком большой сложностью и поэтому трудностью исполнения.

Однажды у меня засиделся Георгий Иванов, а я обещал В. Н. быть на его лекции о Тютчеве. Я предложил Жоржу пойти вместе. Но он возмутился – „Ну, что твой Ильин понимает в поэзии, да еще в тютчевской!”. Но я все же уговорил, и мы пошли. Надо было видеть презрительную улыбку, с которой Иванов уселся чуть ли не перед самым лектором. Но надо было видеть, и как эта улыбка, исчезая, перевоплотилась в напряженное внимание. В вихре тютчевского „двойного бытия”, „шевелящегося хаоса”, „демонов глухонемых”, „мысли – изреченной лжи” закружились бемовский „унгрунд”, „Божественное ничто” Экхарта, „Бог без меня не прожил бы и мгновенья” Ангелуса Силезиуса... и уже не помню, кто еще из знаменитых мистиков, чтобы закончиться разгромом советских литературоведов, которые „дальше носа Маяковского ничего не видят”. Я, конечно, даже кратко не могу воспроизвести лекции Ильина, помню лишь заключение Жоржа – „ничего подобного по глубине” о Тютчеве он не слышал.

Это была настоящая энциклопедия, Larousse Universel, но не в алфавитном порядке, а вразброд. Поэтому проф. о. Ва-

силий Зеньковский называл Ильина „парламентом без председателя". Но и В. Н. в долгу не оставался, клеймя Зеньковского „Котом Васькой, которому больше подходит лисий хвост, чем ряса". У них были какие-то свои профессорские счеты.

Нормально можно было бы подумать, что при такой учености и вечной погруженности в „проклятые вопросы" – они действительно не давали ему покоя – В. Н. должен был бы быть сухарем, набитой науками мумией. Ничего подобного! Ильин был интереснейшим и остроумным собеседником. В молодежных летних лагерях РСХД, куда он ездил почти ежегодно, даже когда ему было за 60, соперничал с „золотой молодежью" и в плавании, и в карабкании по горам (лагеря устраивались в Альпах, на берегу озера), влюблялся в хорошеньких девчат. А когда в 1956 году я купил мощный мотоцикл (В. Н. было уже 66 лет), пристал ко мне, чтобы прокатить его по автостраде.

– Сколько?

– 120.

– А быстрей нельзя?

– 140.

– Быстрей!

– Мотоцикл разорвется!

А потом всем знакомым рассказывал, как с Померанцевым „все автомобили были посрамлены!".

Он скончался внезапно в 84 года, в 1974 году, печатая на машинке какую-то статью. Я бы сказал – его разорвала молодость, переставшая вмещаться в его стареющее тело. Но как же теперь, „сквозь смерть", мне его охарактеризовать? Вспоминаю его лицо на лекциях, слушателем на собраниях, в спорах или разговорах – всегда даже улыбку его или смех разъедала проступавшая скорбь. Наверное, поэтому В. Н. так высоко ставил Розанова, утверждавшего, что „боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Поэтому религия всегда будет одолевать философию". А „боль жизни" у Ильина была. Его мало кто ценил и понимал, да и лекции посещались мало. Вышедшие книги „Шесть дней

творения и происхождение живых существ", „Всенощное бдение", „Серафим Саровский", „Пасха нетленная" расходились плохо. Подготовленные к печати „История русской философии" и „Средневековая философия" так и не увидели света.

Главной опорой семьи была жена, и это его мучило, иногда не давало спать, прибавляя лишнюю тревожную черту к его необычайно умной и заумной (в положительном смысле) натуре, какими-то нитями соединенной с тем, что лежит „по ту сторону ума". Но там он находил веру, не „ограничивая разум", как Кант, но истинное присутствие Божества. Но здесь опять – „никакими словами, никакими стихами" не передать его отношения к Богу. Человек до предела, хочется сказать до отчаяния, верующий, спаявший свою веру огромными знаниями не только философии и богословия, но и естественных наук, прекрасно зная Юнга, Хайзенберга и Ж. Моно, он иногда был с Богом буквально „за руку и на ты". Так, когда мы с ним однажды попали под пронизывающий проливной дождь, он разразился такой тирадой: „У Бога старческое разжижение мозгов. Стащить бы Его за бороду на землю!". В этом отношении он был иллюстрацией в превосходной степени знаменитого „coincidentia oppositorum" Николая Кузанского. И, странное дело, тирады подобного рода в устах Ильина не звучали ни пошлостью, ни святотатством. В этом заключалась вся глубина и сущность его необычайной натуры. Но снова парадокс: для него „сущностью человека" была „молитва". И вдруг „за бороду!".

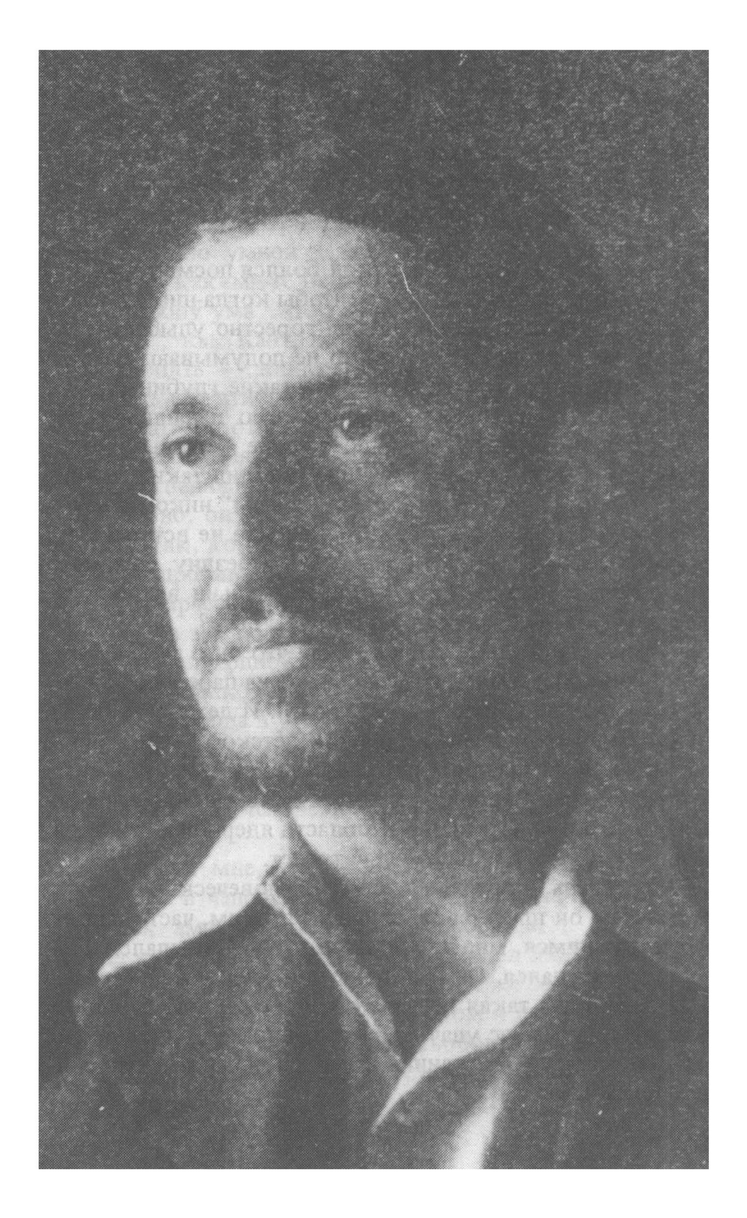
Он говорил мне, что всю жизнь был мучим проблемой греха, своей и человеческой греховности, что в богословии называется амартологией. Каким образом в библейском рассказе о грехопадении в Раю появился диавол? „Раз диавол, – неистовствовал В. Н., – какой же это рай? Это ад!" Я отвечал, что без выбора между злом и добром (результатом грехопадения) не было бы и свободы, а человек был бы автоматом добра. Или, как утверждал Бердяев: „Таков был замысел Бога о человеке".

– Знаю, знаю бердяевские замыслы, – отмахивался В. Н. – Но если Богу понадобилось поправлять рай... и т. д. и т. д. Конечно, библейский рассказ – легенда, миф, но как раз древние легенды и мифы порой в сто раз достоверней и ближе к истине всех ученых домыслов и философствований. И он принимался доказывать, что „хождение по мукам", „чистилища" и прочие „камалоки", отнюдь, не выдумки, что они реальнее и точнее всех точных, естественных и философских наук, и с какими подробностями они описаны у великих святых.

Отсюда и его боязнь смерти: он боялся посмертных мук. Я же ему отвечал, что не помню, чтобы когда-нибудь у меня был страх смерти. В. Н. не спорил, горестно улыбался, и на его лице было видно, что я просто не додумываю мысли до конца, неспособен всматриваться в „такие глубины". Быть может, он и прав. Читая его посмертно изданную книгу „Арфа Давида. Религиозно-философские мотивы русской литературы", я на каждой странице находил такие глубины проникновения и ума, которые мне „на ум" никогда не приходили и которых, пожалуй, нигде больше не встречал. Или же, как писал Ницше: „Не заглядывай в бездну, если не хочешь, чтобы бездна заглянула в тебя". Ильин всю жизнь в нее смотрел. Или она первая заглянула в него?

Не знаю. Из его рассказов помню, что он с детства увлекался техникой, мальчишкой забирался на паровозы, „чтобы лучше рассмотреть, как они работают". И детскость оставалась в нем до его последних дней. И детскость, и наивность, нисколько не мешавшие его с каждым днем увеличивавшимся знаниям: он ловил все новое, что появлялось в философии, в технике. Открытия в области ядерной физики приводили его в ужас и в священный трепет.

И вот теперь, всматриваясь в его человеческий облик таким, каким он представлялся мне и другим, часто над ним подсмеивавшимся, мне думается, что Ильин не удался. Гениально, но не удался. Он был воистину *гениальной неудачей*. Но, по мне, одна такая неудача стоит в сотни раз больше сотен окружающих нас удач посредственностей, заполняющих книжные магазины, страницы газет, экраны телевизоров и радиоприемники.



## ЭММАНУИЛ МАТУСОВИЧ РАЙС

Это был „подлинно израильтянин, в котором не было лукавства". Но, Боже мой, сколько было в этом человеке исканий и метаний, даже взрывов! Эммануила Матусовича Райса я очень хорошо знал, но ни разу не вспоминаю его чинным и спокойным. А встречались мы часто, хотя и с перерывами, и до и после войны. Главное же – когда он что-либо доказывал, принимал или отвергал, это делалось всегда искренне, всем сердцем своим и всей своей эрудицией. А эрудиция его была по-настоящему изумительна, в особенности в области философии, религии и искусства. Так, встретил я раз у Валентина Андреева (сына Леонида) известного французского философа В. Янкелевича и почему-то зашел разговор о Райсе. Я сказал, что отлично его знаю, а Янкелевич мне: „Мы тоже друзья. Когда мне нужна какая-нибудь философская справка и мне лень рыться в словарях, я звоню Райсу и всегда получаю нужный ответ".

Родился Райс в 1909 году в Киеве, учился в каком-то бессарабском городе, где его отец был директором сахаро-ра-

финадного завода, а дед был первым писателем и переводчиком на идиш, позволившим этому жаргону стать литературным языком. После „Октября", когда Райсу было лет двенадцать, семье пришлось бежать в Бессарабию, и дорогой мальчик затерялся и несколько недель провел настоящим беспризорным. Среднюю школу и университет (кажется, юридический факультет) он окончил в Бухаресте. Как он очутился в Париже, – не знаю. Не знаю также, где и как выучил (и довольно прочно) французский, немецкий и английский и каким образом смог одолеть почти все восточноевропейские языки. В Париже он сдал экзамен на библиотекаря, став, кроме того, агреже украинской литературы.

Все эти „предпосылки" мне понадобились, чтобы представить это, в положительном смысле, красочное явление, каким был Э. М. Райс.

Познакомился я с ним в середине 30-х годов, в период его увлечения православием и Бердяевым. Он настойчиво советовал мне не тратить время на антропософию Штейнера и заняться изучением святоотеческой литературы и читать „Добротолюбие". Дискуссии с ним всегда были интересны, чистосердечны – в том смысле, что каждый из нас не из-за полемического задора, но из желания вникнуть в самую суть, высказывал свои убеждения и свою веру. Потом он даже мне признался, что ходил причащаться к о. Евграфу Ковалевскому, чтобы „приобщиться к христианству" (о. Евграф Ковалевский был вне рамок исторической византийской православной Церкви – он старался создать православие западного обряда; это был человек глубокой и настоящей веры.) О. Евграфа я встречал у Е. Ю. Рапп, где иногда он делал интереснейшие религиозно-философские доклады".*

В те „баснословные года" на Э. М. лежал легкий коммунистической налет. Во всяком случае, во время гражданской войны в Испании он был на стороне республиканцев, обви-

---

* После войны о. Евграф стал епископом Православной церкви Франции (западного обряда).

няя Франко в „примитивном авторитаризме". Немецкую оккупацию провел в Гренобле, кажется, участвовал в Сопротивлении, но главное — от коммунизма излечился радикально и окончательно.

Вернувшись в Париж, устроился библиотекарем в Национальную библиотеку и сотрудничал в ряде правых эмигрантских журналов. Потом, в какой-то момент, положение его пошатнулось, и он буквально перебивался с хлеба на квас. Я до сих пор не могу понять, как с такими обширными знаниями и, в частности языков, он не мог прочно устроиться и обеспечить себе нормальное существование. В 55-м или в 56-м году друзья устроили его в Мюнхен на „Радио Свободу" и вот там приключилась с ним невероятнейшая история. Дело в том, что после возвращения в Париж его антикоммунизм стал возрастать в геометрической пропорции: не только имена Сартра и Мерло-Понти, но даже Камю вызывали в нем погромные антикоммунистические тирады и доказать ему, что Камю от коммунизма давно отошел, не было никакой возможности: происки Кремля и ГПУ он видел везде и во всем.

С таким „мировосприятием" он появился и на „Радио Свободе". И вот в 56-м году, в самый разгар „суэцкого кризиса", когда президент Эйзенхауэр отказался поддержать англо-французскую акцию против Египта, которая начинала вызывать резкие протесты и даже угрозы Москвы, Райс устроил на радиостанции настоящий скандал, открыто назвав президента Эйзенхауэра „наймитом Хрущева" или чем-то очень близким к этому. Само собой, „Свободу" ему пришлось покинуть. Выходка была явно совершенно дикой и вряд ли могшей прийти в голову здравомыслящему человеку. Но в том-то и дело, что, будучи далеко не глупым человеком, Э. М. никогда не был человеком *здраво*мыслящим. К тому же отлично знал, что, разрывая с радиостанцией, снова ввергает себя в безденежье и в нужду, и эта его интеллектуальная честность и моральная неподкупность представляются мне наивысшими качествами, которых только может достичь человек. И всё отнюдь не для того, чтобы, как го-

ворят французы, „épater le bourgeois”. Об этом он меньше всего заботился, но лишь потому, что в данное время был глубочайше в этом убежден. Во всех своих „метаморфозах” Райс всегда был самим собой: искателем смысла, правды и глубин.

В небольшой брошюрке-дневнике, „Под глухими небесами”, он заметил: „Бог это – трудность его найти, пока нам на самом деле трудно. Бог в том, чтобы не оказалось там, где мы Его искали, и чтобы мы могли снова отправляться в безотрадный путь, без надежды Его найти. Вот это и есть Бог”. И несколькими страницами дальше: „И в отчаянии – Бог”. Эти две цитаты, пожалуй, лучше всего характеризуют этого необычного человека.

И необычного во всем: в своих суждениях о философии, литературе, живописи. Однажды в разговоре о современных художниках он мне ляпнул, что „Сикстинская Мадонна” Рафаэля – „мазня” перед „Герникой” Пикассо, что первая – просто фотография и что при теперешней технике „можно сфотографировать и получше”. Никакие мои убеждения (о них здесь писать не буду, потому что дело не в них) не действовали, и ответ оставался одним: никакая картина не „передавала с такой реальностью” ужас современного разлагающегося, разорванного мира, как „Герника”.

„Под глухими небесами” – нашел я и такое сопоставление: „Конечно, бывают и исключения – гении – высекающие искру даже и из сырого кремня – Рембрандт, Бодлер, Хлебников”. Я бы, конечно, вместо Бодлера (которого считаю одним из гениальнейших поэтов мира) около Рембрандта поставил бы Гете (по мировому объему) или (по космическому) – Тютчева. Но при чем в такой компании Хлебников? Я отнюдь не хочу унижать Хлебникова (кстати, Андрей Вознесенский как-то сказал мне, что „теперь писать стихи без Хлебникова – невозможно”), но все же соглашаюсь с Георгием Адамовичем, считавшим Хлебникова „больше лингвистом, чем поэтом”.

И еще – под теми же „Небесами”: „О пути” – „Ни на минуту нельзя забывать. Не то – Дьявол прокрадется в самую

узкую расщелину и начнет разрастаться и расширяться брешь, как лед. Дьявол – как огонь – все ползет и стелется вокруг души, и чуть в душе малейшая щелочка, – он сейчас же – туда". В реальное существование Дьявола, Злой силы, Э. М. столь же „отчаянно верил", как и в существование Бога. И отсюда все его метания и отчаяния. Ведь, если задуматься, и задуматься по-настоящему, веря в Бога, нельзя не верить в Дьявола. Веря в Добро, нельзя не верить в Зло, то есть в онтологическое и метафизическое существование и того и другого. Вся наша жизнь проходит в атмосфере колебаний между этими двумя полюсами, а разницы между человеческими жизнями – разницы колебаний.

В последние годы жизни Райс преподавал в парижском университете, в его нантерровском отделении (Нантерр – один из ближайших пригородов Парижа). Его резкие антикоммунистические и антисоветские позиции не раз вызывали инциденты с левонастроенной частью профессуры и студенчества, но всегда как-то улаживались.

Не знаю точно – чем он заболел, знаю лишь то, что кровяное давление поднялось у него чуть ли не до 30* и ему пришлось лечь в университетский госпиталь. Своими беседами он очень скоро заинтересовал значительную часть врачей, больных и персонала так, что по вечерам госпитальная столовая превращалась в лекционный зал, где он читал настоящие ученые доклады по истории древних культур и религий, начиная с персидских, индусских, греческих, римских и кончая европейскими. Он много говорил и о литературе, в частности, о поэзии, зная наизусть буквально тысячи стихотворений на различных языках; а если подбиралась соответствующая аудитория, то и на философские темы.

Конечно, все это излагалось в „райском" преломлении, но по утверждению слушателей, не только интересно, но захватывающе. Последние месяцы он пролежал дома, где и скончался в январе 1981 года.

---

*То есть 300 по международной системе измерения.

Может случиться, что какие-то детали не верны или не точны. Но дело не в них. Как всегда, замечу, что таким я вижу Эммануила Матусовича Райса „сквозь смерть”, таким возникает передо мной его духовный облик.

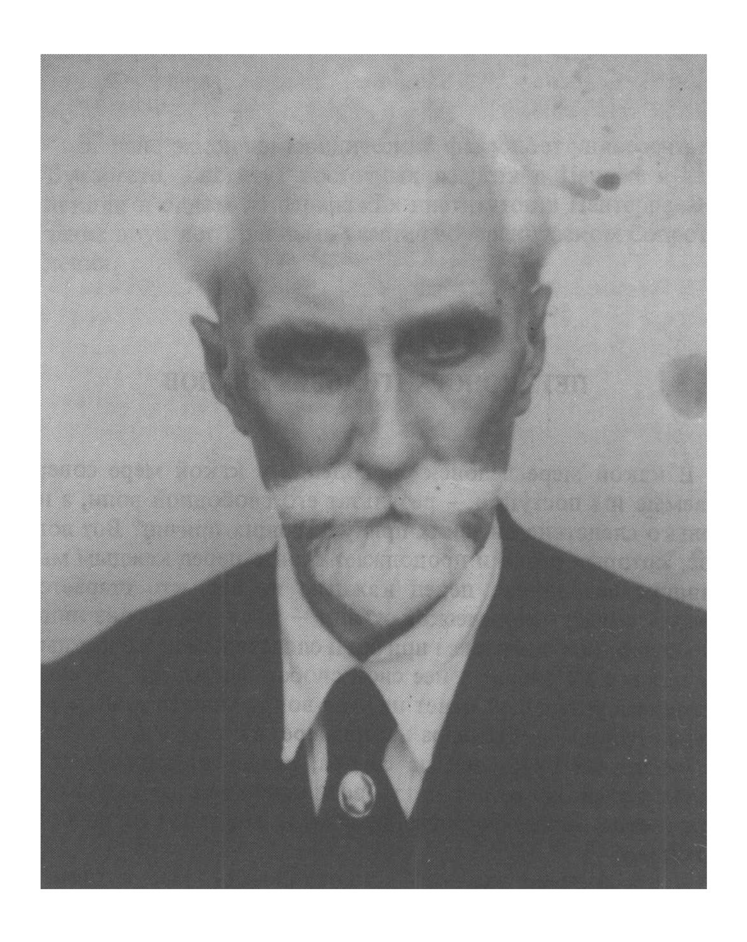
*

Э. Райс закончил юридический факультет университета в Бухаресте, Институт восточных языков в Париже и читал лекции в одном из парижских институтов в Нантерре. В течение двух лет принимал участие во французском Сопротивлении.

## ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ ИВАНОВ

В какой мере человек свободен и в какой мере совершаемые им поступки – результат его свободной воли, а не только следствие внешних принуждающих причин? Вот вопрос, который стоял и продолжает стоять перед каждым мыслящим человеком, перед каждым из нас, кто старается понять смысл человеческой жизни – является ли она лишь механическим сцелением причин и следствий или же каждый из нас все же вносит в нее свой свободный вклад? Лично я удовлетворительный ответ на этот вопрос нашел в антропософии Рудольфа Штейнера на примере в с т р е ч и. Встреча, – утверждал он, – всегда судьба, результат кармической связи людей. Но ее результат, возникающие в ее результате отношения между встретившимися, – результат их свободной воли.

И воссоздавая памятью „сквозь смерть" мои встречи с людьми, духовный облик которых никогда меня не покидал, я все больше и больше убеждаюсь, что это действительно так. И, в особенности, так это было с Петром Константи-



новичем Ивановым, человеком, бывшим намного старше меня (он родился в 1876 году) и принадлежавшим к совершенно другому кругу людей, чем тот, к которому принадлежал я. Познакомился я с ним через одних моих знакомых, его родственников, уговоривших меня пойти на его доклад. Это было около 1950 года. Вспоминается небольшой зал, в нем человек 30-40, на эстраде красивый, с белой бородкой и такими же волосами, старик. Говорил четким, убедительным и совсем не старческим голосом. Тема доклада – как он, атеист, пришел к религии, не только к вере в Духовный мир, но к его непосредственному восприятию, как реальности, подобной физическому материальному миру.

После доклада я к нему подошел, задал несколько вопросов (оказалось, что он очень плохо слышит), он ответил, и так мы познакомились. Из его и его родственников рассказов я узнал его необычайную биографию, центром которой было его воистину чудотворное обращение из атеиста-рационалиста в верующего христианина-ясновидца.

В Париже он ходил молиться в церкви разных юрисдикций, и, когда я его спросил – почему? (русские парижане крепко придерживаются каждый „своей" юрисдикции), он ответил: „Все за Сталина молюсь. Что ж молиться за хороших людей, их и без наших молитв Бог простит, а вот у Сталина... он ведь весь в грехах..."

Но – об его обращении. Он происходил из зажиточной семьи и, окончив, кажется, исторический факультет Московского университете, отправился посмотреть Испанию, где, естественно, пошел на бой быков. Коррида настолько его потрясла, что он даже помешался, и его поместили в психиатрическую лечебницу. Сколько он там просидел, – не знаю, но вернувшись в Москву, ему пришлось и там вернуться на какой-то срок в подобное же заведение. Смутно помню, как он мне рассказывал, что в больнице он однажды вдруг увидел перед собой большой крест, указывавший ему дорогу.

С этого момента он почувствовал себя совершенно здоровым и очень страдал, что его не выпускают. Когда же его

выпустили, он все еще не решался ходить в церковь, проверял себя, сомневался.

Повлияли на него и еще два события: смерть после революции от тифа его шестилетней дочери и затем, ухаживавшей за ним, также заболевшим тифом, его жены. Он решил пойти в церковь и поставить там свечку. И вот, ставя зажженную свечку, ему показалось или он увидел, что от нее загорелись другие свечи, и он истолковал это „знамение" как указание, что он „принят".

Из Советского Союза он был выслан в сентябре 1922 года с группой, в которой находился Н. Бердяев. По всей вероятности, какое-то время перед отъездом П. К. жил в Петрограде, потому что часто бывал на „башне" у Вячеслава Иванова, где встречался со всей элитой Серебряного века. О „башне" же он рассказал мне интересную подробность: там занимались черной магией. И дело обстояло так: как-то раз, когда начались приготовления к „сеансу", он ушел, но спуститься вниз с пятого этажа оказалось делом нелегким. Он чувствовал, что какая-то сила его не пускает, „словно кто-то обхватил меня и тащит наверх".

Я сказал П. К., что это меня не удивляет, так как о „черной магии" у Вячеслава Иванова знаю от вдовы Андрея Белого Аси Тургеневой, которая мне сказала, что на одной из лекций, прочитанной Р. Штейнером в Гельсингфорсе для русских и на которой присутствовали А. Белый, Бердяев и ряд других известных русских интеллектуалов, они после лекции захотели лично встретиться с Р. Штейнером, который всех их принял за исключением Вячеслава Иванова: „Нам с ним не было о чем говорить", – сказал Р. Ш. Тургеневой. П. К. очень обрадовался моему рассказу, так как не хотел быть единственным „обвинителем" В. И. Уже совсем недавно то же самое о В. И. сказал мне один человек, видевший его даже уже католиком в Риме: „От него исходила какая-то неудержимо отталкивавшая сила".

В Париже Петр Константинович жил более чем скромно: служил моделью в школах живописи (я уже упомянул, что он был красивым „серебристым" стариком), иногда рабо-

тал фигурантом в киносъемках. Свободное время, которого у него было больше, чем рабочего, посвящал посещению в госпиталях русских больных, которые, не зная французского языка, почти всегда находились в тяжелом положении. Иногда это было для него нелегко: он был ясновидящим. Так, однажды, после ужина у одних знакомых, прощаясь с каким-то человеком, он поцеловал ему руку. Когда тот ушел, а хозяин дома, шутя, заметил, что он, вероятно, по рассеянности принял уходившего за даму, П. К. наисерьезнейшим образом ответил: „Ведь он через три дня умрет". Так и случилось.

Ясновидение и другие оккультные способности (оккультизм бывает положительным и отрицательным. В случае П. К. дело, конечно, касалось первого) позволяли Петру Константиновичу „видеть" и другие „вещи". Например, он мне рассказывал, что, присутствуя при освящении воды, он „видит", какие духовные силы „освящают" воду – положительные или отрицательные. Рассказывал же с изумительными подробностями, которые даже не берусь передавать. Рассказывал и о других случаях своего ясновидения. Это бывало, когда, гуляя, он садился отдохнуть на скамейку, а мимо него проходили люди и когда вдруг какой-то проходящий почему-то его заинтересовывал, и он „заставлял" его сесть возле себя. Тот садился и между ними завязывался всегда интересный для обоих разговор.

В 1955 году одна хорошая знакомая П. К., русская англичанка, пригласила его к себе на юг Франции для бесед о русской литературе. Ехать ему не хотелось, и он признавался своим близким, что поездка его „пугает". Так и случилось: он скончался в поезде.

Еще в России он написал небольшую книжку „Студенты в Москве". В 1925 г. в Париже – „Смирение во Христе" и под конец жизни, как бы свое завещание, результат своего духовного опыта – двухтомный труд „Тайна святых – введение в Апокалипсис" (605 страниц).

О таком человеке, каким был Петр Константинович Иванов, следовало бы написать много, много больше моей крат-

кой заметки. Но именно потому, что это был совершенно исключительный человек, связанный совершенно особыми, одному лишь ему присущими нитями с Духовным миром, написать надо было бы очень много, так как пришлось бы коснуться вопросов и областей, требующих специального подхода и изложения, что, конечно, выходило бы за рамки моих „воспоминаний". Интересующимся же этими вопросами и религиозным обликом П. К. Иванова советую прочесть его вышеупомянутый труд „Тайна святых – введение в Апокалипсис" (издание YMCA-Press, Париж).

## АРКАДИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ РУМАНОВ

Это был удивительный человек. Глубоко верующий еврей, в Петербурге он был представителем издававшегося в Москве сытинского „Русского слова", самой большой и влиятельной газеты дореволюционной России. Это представительство открывало Аркадию Вениаминовичу доступ ко всем министрам и даже членам императорской фамилии. Так, с великим князем Александром Михайловичем (женатым на сестре Николая II Ксении Александровне) он был связан настоящей дружбой, которая продолжалась и в эмиграции. Это же представительство заманивало в его кабинет весь цвет петербургской литературной элиты – по словам Поля Валери, „третьего чуда" мировой культуры, после высокой „греческой" классики и эпохи Возрождения – начиная от Розанова и кончая Блоком, который шесть раз упоминает о Руманове в своих дневниках. О Розанове же он сам мне рассказывал, как тот ему однажды сказал: „Вот мы с вами разговариваем, а над нами ангельские крылья шелестят".



Граф Н. Татищев с женой, Л. Е. Руманова и А. В. Руманов
(слева направо)

Этого „великолепного" Руманова я, конечно, не знал, так как познакомился с ним лишь в Париже в самом начале 50-х годов. Тогда он уже был старым человеком в неизменном неопределенного цвета поношенном костюме, жившим более чем скромно с женой и приемным сыном в небольшой квартире пятнадцатого округа Парижа.

Познакомил меня с ним Георгий Иванов, сказав о нем приблизительно, что он – образец того, что „было самым лучшим и самым худшим в русской интеллигенции", – точно я его слов, конечно, не помню по причине моего первородного греха: никогда не записывать того, что мне приходилось слышать от замечательнейших людей, с которыми посчастливилось встречаться.

Он был живым опровержением легенды (в которой, быть может, есть какая-то доля, но лишь доля правды) о том, что евреи всегда умеют хорошо устраиваться. У Аркадия Вениаминовича были неплохие связи на Западе. Так, он отлично знал одного магната американской печати и директора одного из самых больших французских издательств „Плон", и вдобавок был представителем по еврейским делам во Франции г-жи Рузвельт (вдовы президента), но воспользоваться этими связями для какого-либо улучшения своего материального положения он не сумел или не захотел. Какие-то гроши он все же получал, но именно гроши; подрабатывала какими-то уроками жена. Приходилось занимать деньги, иногда не удавалось их отдать. Но большой ли это грех? Много больший – делать из денег идола, как считал Георгий Адамович.

Знаю, но без подробностей, что сразу после ухода немцев он участвовал в каких-то просоветских эмигрантских объединениях, но, помня патриотическую эйфорию, охватившую многие эмигрантские круги, большой вины в том не вижу. Во всяком случае, ко времени моего знакомства с ним от таких настроений в нем не осталось и следа.

Теперь характерным для А. В. было совсем другое. Както раз мы возвращались с ним с какого-то литературного вечера. Заметив нас, один шедший нам навстречу человек бы-

стро перешел на другую сторону улицы. А. В. удивился: „По-моему, я не сделал ему ничего хорошего. Почему же он меня избегает?” И как это верно! „Человеческое, слишком человеческое”, сказал бы гениальный автор „Заратустры”.

Большинство наших бесед происходило в захламленной книгами, папками, тетрадями и прочим бесценным „нафталином” комнате Аркадия Вениаминовича. Что там было? Книги с дарственными надписями, какие-то его собственные заметки-воспоминания, может быть, даже какие-то ценные документы и рукописи (с его-то российскими знакомствами и связями!). Опять же, из-за моего тогдашнего непростительного легкомыслия, не приходило даже в голову полюбопытствовать. Наверное, вдова все отправила в Москву, тем более что вскоре после кончины А. В. в Париже начал „свирепствовать” советский литературовед и сборщик „эмигрантских древностей” И. З., большой умелец ловить на мякину „родины” простодушных эмигрантов. Устоял только один Крымов. – „Что? Вы меня ограбили, выгнали из России, а теперь клянчите, чтобы я вам что-то еще дал?!” В этот самый момент в кабинет вошла жена хозяина и своим миротворческим увещеванием предотвратила скандал.

Вспоминаются два рассказа Аркадия Вениаминовича. Первый – как он вместе с великим князем летал в Нью-Йорк продавать издателю рукопись только что законченной Александром Михайловичем книги. В рукописи она называлась „Когда я был Великим Князем”.

Прилетели. Сговорились о свидании, предварительно обсудили цену книги.

– Попросим пять тысяч долларов, – предложил А. В.

– Не дороговато ли? Может не дать, а торговаться неудобно.

– Попытаемся. Предоставьте мне. Я же ваш импрессарио.

Магнат действительно счел цену слишком большой, но не торговался, сказав, что ознакомится с рукописью и тогда скажет, сколько сможет заплатить, попросил зайти через неделю.

Через неделю, когда они только лишь зашли в кабинет издателя, тот прежде даже чем с ними поздороваться, протянул великому князю чек на... пятнадцать тысяч долларов! Видя их замешательство, сказал:

– Я дал прочесть вашу книгу моей горничной, и она две ночи не спала, не могла оторваться. Если так было с моей горничной, так будет и со всей Америкой!

Рассказывая мне этот случай, А. В. подчеркнул исключительный дар издателя – распознавать интеллектуальный уровень читателей и своих сотрудников. Книга, действительно, была рассчитана на среднего читателя и написана с предельной правдивостью и простотой.

Второй рассказ был более красочен, он свидетельствовал одинаково и о смелой „изобретательности" Аркадия Вениаминовича, и о том, что ему было суждено после блистательных петербургских лет вкусить горечь лет эмигрантских.

Он предложил великому князю продать императору Абиссинии (православному христианину) „ключи" от Гроба Господня. „Ключи", то есть соответствующая грамота, по традиции хранилась русским императором, а после революции и убийства царской семьи оказалась у Александра Михайловича, одного из ближайших родственников убитого государя. (Каким образом – не знаю.) Прибавлю только, что с большими подробностями, чем я, от того же А. М. всю эту историю слышал редактор „Нового Русского Слова" А. Седых.

Сговорились и поехали. Сколько просить за „ключи", – вопрос не поднимался. Всем было известно, что Негус – один из самых богатых африканских властителей, поэтому сам предложит и, конечно, не обидит. Приехали, добились аудиенции и явились на оную за четверть часа до срока. Царедворцы уже все знали и провели высоких гостей в тронный зал, где еще никого не было. Гости, конечно, сели в первом ряду кресел. Минут через десять из одной из боковых дверей, что находились по двум сторонам от трона, медленно и степенно вошли два великолепных льва и уселись по обе стороны трона. Великий князь рассказывал (но не мне),

что „бедный А. В. буквально окаменел от страха, хотя звери не обращали на него никакого внимания и выглядели, в общем, добродушно. Даже когда стало совершенно очевидно, что львы никакой опасности не представляют, А. В. оставался в том же состоянии.

Наконец, в точно уговоренный час явился и сам император. Уже не помню порядка церемонии, лишь смутно — благодарность „царя царей" (официальный титул Негуса). Она была следующего содержания: оценить такой подарок невозможно, но, конечно, „великий князь получит вознаграждение, хоть в какой-то небольшой мере соответствующее исключительному значению дара".

Полные планов и надежд, великий князь и А. В. вернулись в свой отель. Не знаю, спали ли они или не спали от волнений и надежд, но утром, стоя у окна, увидели, как во двор отеля вводят множество ослов с грузом. Когда их разгрузили, весь двор был полон тяжеленных мешков, содержащих... соль. Оказалось, что в Абиссинии соль очень дорога, и Негус думал действительно „по-царски" отблагодарить за подарок! Продать же соль значило кровно оскорбить „царя царей". А везти с собой обошлось бы дороже, чем то, что они смогли бы выручить, продав соль во Франции.

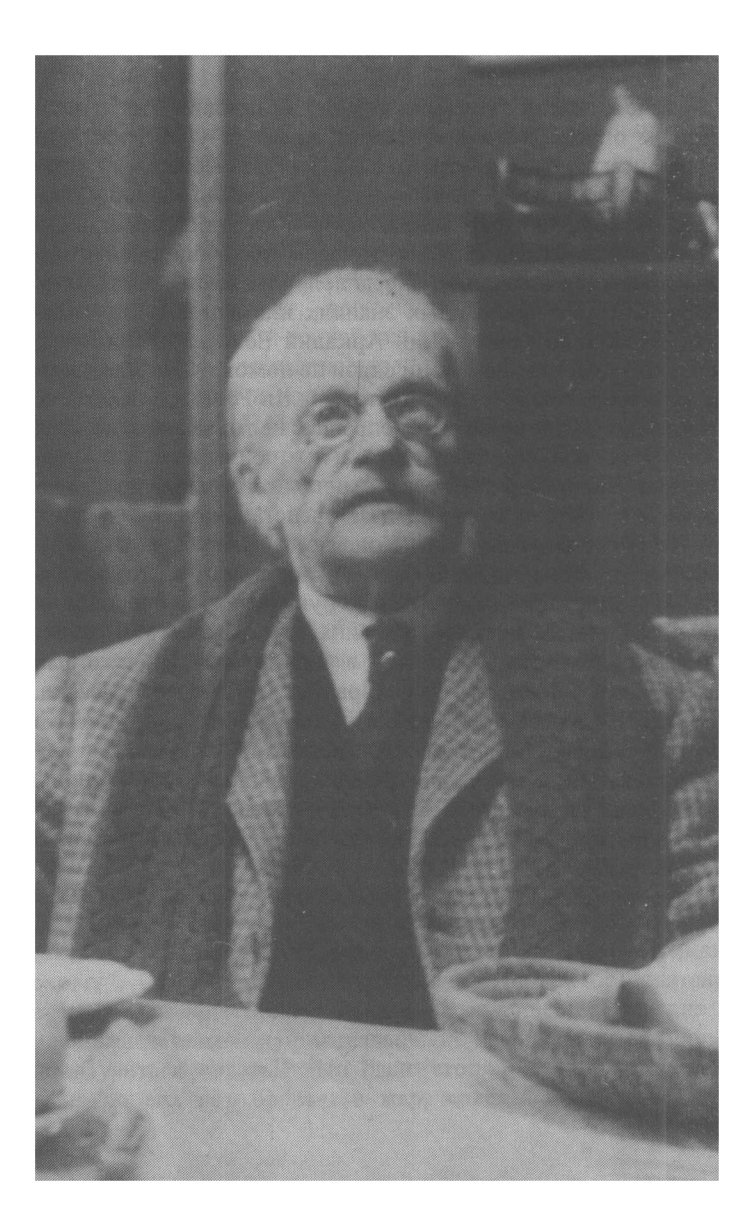
Вспоминается и другое „приключение", но уже со мной. Ведь это было в начале 50-х годов, то есть в те „баснословные года", когда я даже еще не входил в журналистику, но лишь подползал к ней, однако уже мнил себя писателем и намарал роман с громким названием „Entre deux Néants" (по-русски — „Между двумя Ничто", что звучит не так „гордо"). Какие-то отрывки из него я читал Аркадию Вениаминовичу, но больше рассказывал, и он предложил мне постараться устроить его в большое французское издательство „Плон". Результат оказался противоположным „американскому". Ознакомившись с рукописью, директор издательства сказал мне приблизительно следующее: „Название и идея замечательны и оригинальны, но вам прежде всего нужно научиться писать!" Что было стопроцентной истиной, и меня до сих пор бросает в жар, когда я вспоминаю, как

я мог такой „рататуй” показать чтецам-специалистам. Смущен был и утешавший меня А. В.

Я уже отметил, что Аркадий Вениаминович был воплощенным опровержением распространенного убеждения, что „евреи всегда умеют устроиться”. Да, быть может, есть и такие. Антисемитизм – не выдумка, и столетия гонений и притеснений приучили еврейский народ к стойкости, заставили с детства относиться серьезно к учебе, ибо лишь превосходство в знаниях позволяло еврею получить место, пост, положение, которое при равных знаниях никогда ему не досталось бы. Но вот был некий Аркадий Вениаминович Руманов, которому ни знания, ни связи не помогли. Не знаю, как он докарабкался до своего положения в России, никогда не приходило в голову об этом спросить не только его, но всех его хорошо знавших из тех, кого и я хорошо знал.

Здесь же, в Париже, меня умиляла его смиренная мудрость. Это почти тавтология. (Не представляю себе Сократа или Толстого смиренными.) Конечно, А. В. не был ни Сократом, ни Толстым, но надо было слышать, как он говорил о них! Как старался объяснить мне бунт Розанова против христианства и повторял слова раввина, сказавшего ему, что Розанов слишком полюбил плоть, а любить надо дух, который спас Иова и остановил руку Авраама, чтобы спасти Исаака. Все это я слушал под „штукатурным небом и солнцем в шестнадцать свечей” его забитой всяческим хламом смиренной комнатенки, так тепло гармонировавшей с внутренним смиренным уютом этого человека – когда-то одного из самых блистательных людей когда-то блистательного Санкт-Петербурга.

Он скончался 15 октября 1960 года.



## ВЛАДИМИР ПИМЕНОВИЧ КРЫМОВ

Вот с Владимиром Пименовичем Крымовым совершенно не знаю, как мне быть. И совсем не потому, что он был какой-то замечательной личностью. Личностью он, пожалуй, был заурядной, но человеком необычайным. Раскрывать этой антиномии не буду: пусть каждый по прочтении главы сам выведет заключение.

Родившийся в бедной староверческой семье (он до школьного возраста жил в безоконной каморке, освещавшейся керосиновой коптилкой, из-за чего его крайняя близорукость под старость перешла в полную слепоту), он почти миллионером в 17-м году выехал из России в Соединенные Штаты, оттуда в Германию, а в 33-м, с приходом Гитлера, уже большим миллионером переехал во Францию, где скончался почти 90-летним стариком в роскошной собственной вилле на берегу Сены, в фешенебельном предместье Парижа — Шату.

В России Крымов успел получить среднее образование, затем столь же успешно закончил Петровско-Разумовскую

академию (своего рода высшую школу естественных наук), был одно время (какое – не помню) коммерческим директором суворинского „Нового времени" (потому что „старик не доверял сыновьям"), представителем каучуковой фирмы „Проводник" побывал в Южной Америке и заключил там выгодные контракты с плантаторами, подписал с американским автомобильным заводом „Пакар" договор на поставку русской армии автомобилей, а за год до революции почти поставил на ноги в Петрограде издание большой, чуть ли не стостраничной, газеты по образцу знаменитой лондонской „Таймс".

Ко всему этому следует прибавить издававшийся четыре года „журнал красивой жизни" – „Столица и усадьба". Для Крымова он не был „вещью в себе", но лишь средством проникнуть в великосветские круги, вплоть до членов императорской фамилии. Журнал издавался богато, с отличными фотографиями и, естественно, что все, кто имел большие родовые имения, стремился попасть на его страницы. Через него В. П. познакомился с великим князем Андреем Владимировичем и его супругой М. Ф. Кшесинской, через которых и получил заказ на автомобили. И маленькая деталь: время было военное, но в журнале о войне не упоминалось – для чего напоминать о неприятных вещах? Зато были во всю страницу фотографии великих княжен, в госпиталях ухаживавших за ранеными. Все это способствовало немалому успеху журнала и отвечало целям его создателя.

В Нью-Йорке, с соответствующими документами в руках, Крымов явился к Пакару и потребовал причитающуюся ему комиссию. Насколько помню, около 750.000 долларов. Ему ответили, что о такой сумме не может быть и речи и предложили в три раза меньше, сказав, что, если он не согласен, – может судиться. Зная по опыту, что такого рода судебные процессы, даже если и кончаются благоприятно, могут длиться годами, В. П., поразмыслив и кое с кем посоветовавшись, согласился. К тому же и предложенная сумма по тем временам была огромной.

В Соединенных Штатах В. П. оставался недолго и вскоре

переехал в Германию, где в ближайших окрестностях Берлина, в Целендорфе, купил небольшой особняк с садом. Там же он женился на своей секретарше, очаровательной Берте Владимировне Ловяновой. „Капиталистическая эволюция" продолжалась прежним темпом, через посредство сразу же открытой в Берлине конторы на предмет советско-немецкой торговли. Через эту контору он познакомился с директором советского государственного банка Ройземаном, „конфидансы" которого позволили ему в несколько раз увеличить свое состояние и стать уже мультимиллионером. Дело в том, что в 20-х годах распространились слухи о том, что закупавшее на Западе товары в кредит советское правительство не сможет оплатить по векселям. Ройземан заверил Крымова, что сможет, и Крымов до дешевке стал векселя скупать и, когда пришел им срок, получил за них большую сумму.

Уехать из Германии чету Крымовых заставил, как я уже заметил, приход к власти Гитлера. Берта Владимировна была еврейкой. Но куда? „В самые красивые окрестности самого красивого в мире города". Таким оказалось Шату.

Переезд, как и сам человек, был также необычным. Все содержимое целендорфского особняка было упаковано и отправлено в нанятом на этот предмет отдельном товарном вагоне, куда было погружено решительно все: грубая безвкусная обстановка, посуда, книги (их было много), старая кухонная утварь (кастрюли, сковородки, метелки, веники...), дешевые садовые инструменты (пилы, лопаты, грабли, самодельные неуклюжие тачки... – словом, все, решительно все. Было дико и непонятно – к чему мультимиллионеру вся эта мизерная рухлядь? Пойди, разгадай! Сами Крымовы уехали на автомобиле (Б. В. была отличным шофером). Кроме них, в автомобиле было... несколько клеток с курами, с которыми Б. В. ни за что не хотела расставаться. Злые языки говорили потом, что куры были „накормлены" золотыми монетами, но это было вздором.

Познакомился я с Крымовым в начале 50-х годов, когда он уже был совершенно слеп. Познакомился через жену моего двоюродного брата В. В. Брянского, урожденную Хво-

стову (дочь небезызвестного министра внутренних дел А. А. Хвостова), которая одно время была у него чтицей и единственной женщиной (в моем присутствии, во всяком случае), которой он целовал руку, именно потому, что она была дочерью известного министра. То, что министр был известен не совсем с благовидной стороны, для В. П. не имело значения: важно, что он был министром.

Искусство не ценил да и ничего в нем не понимал. В России, когда еще видел, ходил на балет, но лишь потому, что на него ходили снобы и знать. Детей, конечно не имел: „От них одни хлопоты и неприятности, а что из них выйдет – неизвестно".

Презирал также мораль и религию. Хвастался тем, что его „выгнал Толстой". Студентом он пошел к нему спросить – как нужно жить? – и Л. Н. ответил: „Слушаться голоса совести". Молодой Крымов ответил: „У меня совести нет". Тогда Л. Н. дал понять, что им больше не о чем говорить. Уже живя в Париже, В. П. решил встретиться с Бердяевым, отправился к нему и сразу же задал вопрос: „Считаете ли вы Христа Сыном Божиим?" Получив ответ, что да, он сказал: „Тогда нам не о чем говорить", и уехал домой.

Voila le personnage, как сказали бы французы. Человек он был скорее неприятный, но во всех отношениях необычный. Коммерческие (или, лучше, предпринимательские) способности, позволившие ему выбиться в „большие люди" (да еще в какие!), породили в нем чувство превосходства над другими и презрения к бедным, которых он считал ниже себя, прежде всего в умственном отношении. В действительности же, почти всегда было наоборот. Ко времени моего с ним знакомства он написал уже около двадцати книг. Георгий Адамович считал их „ниже всякого уровня". Я бы все же выделил среди них две: „Феньку" и „Сидорово учение", в которых он, местами даже талантливо, рисует характер и быт русских староверов. Показательно, что относительно одной из других, „Бог и деньги", он говорил мне, что ее надо было бы назвать „Деньги и Бог", настолько деньги являлись для него высшей ценностью. Ни о какой вере или рели-

гиозности, конечно, не могло быть и речи. Было даже наоборот, верующих людей он почти открыто презирал.

Однажды в моем присутствии он спросил у приехавшего к нему по его же просьбе профессора о. Василия Зеньковского: „А почему вы поп?" Я смутился, но о. Василий вежливо, но твердо ответил: „На то была воля Божия", и сразу же перевел разговор на какую-то другую тему. Неверие ни во что, кроме денег, было настоящей трагедией Крымова, хотя сам он этой трагедии не ощущал, даже о ней не догадывался. Так, он мне рассказывал, что после женитьбы на Б. В. супруги решили отправиться в кругосветное путешествие по „высшему разряду". Путешествие длилось чуть ли не шесть месяцев и стоило каких-то баснословных тысяч. В Индии он специально разыскивал факиров, а в африканских странах колдунов и предлагал им большие деньги, если они ему покажут хоть какое-нибудь чудо. Но, конечно, ничего, кроме „шарлатанства", не увидел. Мои объяснения, что чудо предполагает не только чудотворца, но и „чудоприемника", то есть веру в чудо, до В. П. не доходили и явно его раздражали (бессознательный признак чувства неполноценности, пусть даже в области, которую он отвергал).

Одними из самых интересных рассказов – а рассказчик он был превосходный, обладая к тому же замечательным тембром голоса и русским языком, – были рассказы из его староверческого детства. Так, однажды, когда ему было лет восемь, мать повела его к какому-то их близкому родственнику П., богачу, владельцу нескольких тысяч десятин леса в Сибири. В гостиной П. стоял домашний аквариум с золотыми рыбками, и ребенок буквально в него влюбился так, что он стал его предельной мечтой. Затем он узнал, что П. купил новый аквариум, а прежний отнес в сарай. Встречаясь потом несколько раз с П., он всячески намекал ему, чтобы тот подарил ему старый аквариум, но все старания были тщетны. Тогда мальчик начал копить деньги – иногда получая от матери кое-какие копейки – и, скопив за год два рубля, купил у „дяди" старый аквариум. Когда вдумываешься в такой рассказ, становится по-настоящему жутко. Кры-

мов же мне спокойно объяснял, что таковой была среда: „даром, брательник, токмо кирпичина, на голову падающая, или копейка, рубль берегущая".

Эта среда и породила с самого детского детства в Крымове нечто вроде „категорического императива" – единственной цели жизни, которую нужно преследовать – деньги. Она же явилась причиной тому, что, уже ставши миллионером, В. П. – так он мне объяснял – не не хотел, а не умел давать деньги даже взаймы. Вот еще пример. Свои книги он издавал сам и сам же рассылал их по книжным магазинам. Отсылать ходила на почту жена. При мне был такой случай: Б. В. вернулась с почты, где она отослала 20 книг в Аргентину, и В. П. спросил у нее, сколько стоила посылка. Проверил по тарифу, и оказалось, что Б. В. заплатила на три франка больше. Он заставил ее вернуться и потребовать три франка обратно!

Плюшкин? Совсем нет. Принимал он часто, широко и на приемы денег не жалел: часто была икра, пять-шесть других закусок, непременно мясное и рыбное блюдо, и почти всегда шампанское. Гостей угощал гаванскими сигарами. Сам посасывал их, не выпуская изо рта, целый день. В доме всегда была собака, за которой ухаживали, как за ребенком, а ее смерть переживалась как настоящая драма.

И кто только не перебывал в Шату! – великий князь Андрей Владимирович с М. Ф. Кшесинской, бывший меньшевик Б. И. Николаевский, Роман Гуль, Марина Цветаева, Алексей Толстой, Георгий Адамович, А. Бахрах, И. Тхоржевский, С. Кречетов (первым издавший стихи Ходасевича), Н. Н. и А. А. Евреиновы, И. Бунин, Георгий Иванов и И. Одоевцева, С. Маковский, Ю. Анненков, Б. Поплавский, Ю. Одарченко, проф. В. Сперанский, издательница „Новоселья" С. Прегель, В. Бурцев, бывший начальник тайной полиции ген. А. Спиридович, редактор „Возрождения" князь С. Оболенский, один раз даже Л. Шестов. Из французов – полковник генерального штаба Б., о котором я еще упомяну (в главе о Г. Беседовском), проф. П. Паскаль, основатель коммунистической ячейки в 1918 г. в Петрограде М. Боди.

Наверное, кого-то позабыл. Ко времени моего знакомства с Крымовым многие уже покинули этот „лучший из миров". Не думаю, что большинство перечисленных лиц приезжали из особого расположения к В. П. Конечно, было воистину царское угощение, но и это не так уж влекло гостей. Скорее всего, приезжали с надеждой встретить интересных людей, обменяться мнениями, воспоминаниями, поспорить. А спорили много и часто. К сожалению, всего не уложить в книжную главу.

Почему я решил написать о Крымове? Человек он был малоинтересный, предельно ограниченный „практическим разумом", предельно сосредоточившим его на „делании денег", и поэтому сведший „чистый разум" к предельному минимуму. О каких-либо не только „возвышенных" чувствах, но даже простых человеческих – бескорыстной дружбе и любви – не могло быть и речи. Да он в них и не нуждался (во всяком случае, считал, что не нуждался). Но это был человек с необычной, хочется даже сказать, „гениальной" биографией: родившись в бедной семье и едва лишь кончив образование, он ракетой устремился к мамоне, поставив ее не средством, а целью, которая всосала в себя все остальные интересы и чувства. Я не знаю и не слышал, чтобы кому-нибудь он сделал зло, во всяком случае умышленно. Но не делал и добра или лишь постольку, поскольку извлекал „добро" и для себя: приятное общество, удовлетворение любопытства и т. п. Думаю, что по-настоящему он не любил даже и беспредельно ему преданную Берту Владимировну: как слепой, он просто не мог без нее обойтись. Любил же он только себя и верил только в себя: почти до конца жизни все было на его имя – дом, счет в банке, процентные бумаги. Но эта вера в себя сократила ему и жизнь. Он умер почти девяностолетним стариком, от сердечной болезни. Но еще за несколько месяцев до смерти был бодр, подолгу гулял в саду, пилил дрова. Когда начались перебои с сердцем и позванный врач дал какие-то лекарства и запретил пилку дров, он через несколько дней снова стал их пилить („для упражненья") и заявил, что врач – шарлатан, ничего не

понимает и „только берет деньги". И это ускорило его конец.

Я не берусь ни судить его, ни осуждать. Таковой была его карма, но и не думаю, что таков был „Божий замысел о нем", хотя „все в руках Божьих". Но я не уверен, что то, что мы, люди, считаем злом, считает злом и Господь Бог, да и наше „добро" вряд ли всегда и Его Добро.

## ГРИГОРИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ БЕСЕДОВСКИЙ

С Григорием Зиновьевичем Беседовским я познакомился во второй половине 50-х годов: когда точно, – уже не помню. Познакомился случайно у одних наших общих знакомых. (Друзья знакомить не хотели – „втянет тебя в какую-нибудь грязную историю!”). А я – познакомившись, уцепился: все же первый избравший свободу, и какой первый – первый секретарь советского посольства в Париже! Такие на земле не валяются.

В 1928 году это было событием, но в те „баснословные года” политикой я интересовался мало и запомнил только понаслышке. Через несколько дней после бегства он получил вызов с требованием немедленно вернуться в Москву. Его ответ был ярок и точен: в телеграмме по-русски, но французскими буквами стояло „А не пошли бы вы к ...”. Сбежал же он в отсутствие посла, заметив, что за ним следят: приехала какая-то комиссия во главе с директором советского банка Рсйземаном. Перепрыгнув через стену посольства, Беседовский (с 25 тысячами долларов в кармане)

сразу же отправился в находящийся неподалеку полицейский комиссариат, где сказал, что намерен просить политического убежища.

Получив его, он открыл автомобильный гараж, но довольно скоро прогорел, и гараж пришлось закрыть. В 1930 году он написал полуавтобиографическую, полуидеологическую книгу „На путях к Термидору" (то есть – к падению советской коммунистической диктатуры), в своей исторической части соответствовавшую действительности. Одновременно он начал издавать журнал „Борьба", в котором сотрудничал (ставший впоследствии моим другом) С. М. Рафальский. Сколько номеров журнал выдержал, – не знаю, но, кажется, не много.

Когда я с ним познакомился, это был уже совершенно другой человек. Ему было под шестьдесят. Блестящий рассказчик, гениальный выдумщик, отлично знавший несколько иностранных языков (перед Парижем он был первым секретарем советского посольства в Риме, а перед этим – в Токио), он уже выпустил несколько „сенсационных" фальшивок. Расскажу об одной из них.

Однажды у моего знакомого писателя В. П. Крымова (издававшего в России известный журнал „Столица и Усадьба") меня познакомили с полковником французского генерального штаба Б. Узнав, что я русский журналист, Б. спросил меня, читал ли я „Воспоминания полковника Калинова". Он объяснил мне, что в них изложена военная доктрина маршала Булганина, которая сейчас изучается в генеральном штабе. Мне пришлось полковника разочаровать: „Воспоминания" писались у меня на квартире под коктейль из коньяка и молока „глория" (отличнейшая вещь!) и даже в мою честь Калинов был „крещен" Кириллом. Смущение полковника описывать не буду: его нетрудно вообразить.

Перед „Калиновым" вышли „Записки капитана Крылова", в которых рассказывалось об установлении дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами (кажется, при Екатерине II), якобы ознаменовавшихся тем, что в какой-то момент русскому послу удалось украсть

у американского министра иностранных дел золотые часы.

За „Калиновым" последовали „Записные книжки" племянника Сталина (убитого во Вторую мировую войну), тоже сфабрикованные Беседовским.

Я уже сказал: в фантазиях и в искусстве рассказа это был настоящий гений. Приведу несколько „свидетельских показаний", особенно мне запомнившихся.

Как-то раз Беседовский сидел у меня, когда мне позвонила широко известная в тогдашних эмигрантских кругах вдова бывшего французского министра флота Вера Николаевна Дюмениль (русская по происхождению). Все тогдашние эмигрантские балы происходили под ее „высоким" покровительством. „Приходите ко мне часам к четырем, у меня прием: сегодня мне исполнилось восемнадцать лет!" – сказала она. Я ответил, что у меня сидит Беседовский. „Так приводите и его".

Хорошо сказать, „приводите": у адмиральши прием, значит, будут дипломатический корпус и ее великосветские друзья – виконты, графы, князья. А у меня Беседовский в каком-то бирюзово-голубом костюме и в оранжевом пуловере с большим вырезом прямо на голое тело. Я передал ему приглашение, совершенно уверенный, что он откажется, а он – „Ну так пойдем!" – пошли.

В. Н. жила еще в своей старой министерской квартире на улице Фонтенуа, в одном из фешенебельных кварталов Парижа. Дверь открыл (приглашенный по этому случаю) ливрейный лакей. Увидав моего спутника, он в замешательстве что-то пробормотал и моментально исчез. Мы же очутились в пространной передней. Там стоял стол, на нем подписанные портреты высоких особ, с которыми адмиральской чете приходилось встречаться (Николая II, Абдул Гамида, Черчилля, Клемансо, де Голля и т. п.). Из приемной открывалась соединенная арками анфилада из трех комнат, в последней из которых виднелся стол с большой серебряной вазой на нем. Растерявшись, я даже не заметил, как около нас очутилась адмиральша и, не обращая внимания на костюм мо-

его приятеля, указав рукой на стол с вазой, скомандовала: „Кирилл, пройдите с вашим другом туда и приготовьте крюшон, все, что надо, найдете за скатертью стола".

Мы пошли. В комнатах уже находилось человек двадцать приглашенных. Некоторых из них я уже знал. При виде Беседовского они пришли в некоторое замешательство. Несколько человек деликатно отвернулись.

Когда крюшон был готов (три бутылки шампанского на бутылку коньяка и полагающиеся фрукты), В. Н. пригласила всех к столу, мы разлили крюшон по стаканам и начались поздравительные тосты. Дошла очередь и до Беседовского. Он поднял стакан и начал говорить на безукоризненном французском языке, коснулся какого-то подобного приема в итальянском посольстве, затем какого-то инцидента в Токио, и буквально через две минуты произошло настоящее преображение. Был только „Monsieur l'ambassadeur", были только восхищенно-одобрительные кивки, было только – лишь бы он не перестал говорить. Оказалось, что со многими приглашенными он уже встречался, – с одними в Риме, с другими в Токио, с третьими еще в Москве. Так продолжалось минут тридцать. Когда он останавливался, провозглашались другие тосты, но тут же моего героя забрасывали вопросами. Он отвечал на них, „припоминая" какую-нибудь очередную невероятную историю. Так продолжалось почти до вечера. Рассказал, конечно, и очередной (и, как всегда, гениальный) вариант своего бегства из посольства: оказалось, что ему пришлось перелезать обратно, чтобы забрать оставшегося там любимого пса Евлогия (названного так в честь известного в русской эмиграции митрополита).

Когда же пришло время расходиться, адмиральша попросила „посла" и меня остаться на ужин в компании ее верных друзей – виконта и виконтессы де Мапан.

Припоминается и другой случай, о нем в свое время была даже заметка в местных газетах. Не помышляя в то время ни о каком журнализме, я ее, к сожалению, не сохранил, а было бы любопытно перечесть. Дело происходило в 1943 г., когда Франция была оккупирована немцами. Беседовский

в то время жил в Ландах, где-то между Бордо и Байонной, под фамилией какого-то протестантского пастора. У него был небольшой отряд из „сопротивленцев", которые, кроме своей обычной деятельности, по ночам совершали набеги на немецкие обозы. Само собой, в одну из таких „экспедиций" они были пойманы и посажены в лагерь, где в ожидании более серьезной кары Беседовский успел „крестить" двух евреев, сфабриковав им соответствующие свидетельства. Дело пахло жареным, но на их счастье случился лесной пожар. Как лесной инженер, Беседовский представился начальству и пообещал пожар затушить. Ему дали наряд из лагерников, он отправился на место бедствия, где сразу же велел рыть канавы. (Лесные пожары тушатся соответственно вырытыми канавами, которые мешают огню перебрасываться.) Но канавы были вырыты так, что огонь ринулся на местную комендатуру, и пока ее персонал спасался, спасся и сам Беседовский, да так, что его уже не смогли найти.

Последняя из вспомнившихся мне „гениальных идей" относится лично ко мне. Однажды после месячного отсутствия он пришел ко мне сияющий, но почему-то сильно хромая и с палкой. Он объявил, что у него от наших „аперитивов" начался детский паралич и врачи велели, хоть через силу, но ходить 5-6 км в день. Он рассказал мне, что у одного только что скончавшегося советского беженца полиция обнаружила внушительный архив, и он, пользуясь своими прежними связями в министерстве иностранных дел ФРГ, получил разрешение этот архив просмотреть. Уже совершенно не помню, почему, как и в каком виде он обнаружил там „написанные по-русски каким-то чиновником советского посольства в Пекине" воспоминания о детстве и юности Мао Цзэдуна и Лю Шаоци (бывшего президента Китая).

Беседовский сказал, что теперь он „привел записки в порядок" и хочет перевести их на французский язык и и издать. Меня он попросил их прочесть и написать к ним предисловие, предложив довольно приличный гонорар: „Понимаете, мне нужно, чтобы это сделал профессиональный журналист". Он дал мне фотокопию рукописи, и я ее прочел.

Это был увлекательнейший рассказ о двух неразлучных в детстве друзьях, Мао и Лю, настоящих двух ангелочках! Как из них вышли кровавые чудовища, – было скрыто „мраком неизвестности". Имелся даже пикантный инцидент с Лю: лет в 20-25, по какому-то случаю, он попал в Москву, где приударил за небезызвестной Ларисой Рейснер, к которой был неравнодушен и сам „отец народов", и за эту свою оплошность просидел около двух недель в камере ЧК!

Совершенно ясно, что „ни при какой погоде" к такой книге написать предисловия я не мог без риска немедленно быть выгнанным С. Водовым (тогдашним редактором) из „Русской мысли", о чем я и сказал Беседовскому. Не моргнув глазом, он со мной согласился (как будто, давая рукопись, не понимал!), а я рекомендовал его одному моему знакомому, французскому журналисту, и дело было улажено ко всеобщему удовлетворению.

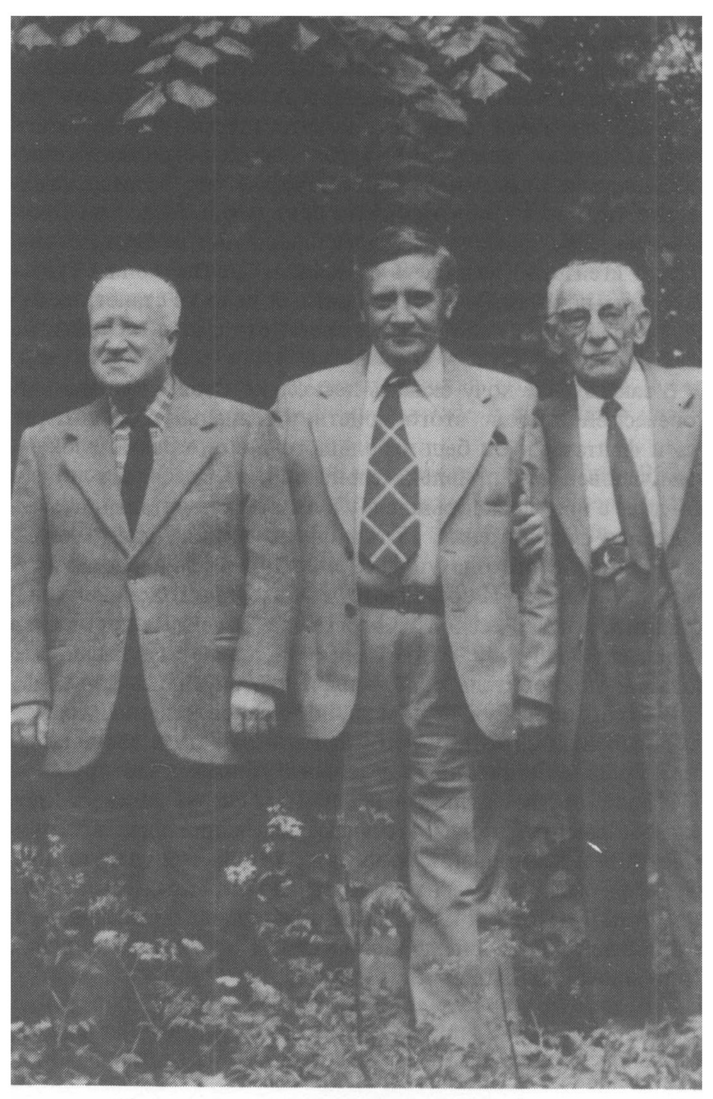
Последний раз я видел Беседовского в октябре 1962 г., во время „ракетного кризиса" Хрущев – Кеннеди, когда некоторые учреждения собирались эвакуироваться из Парижа, а всегда осторожный „Ле Монд" опубликовал передовую статью под заголовком „Накануне войны?" (или что-то вроде). Он пришел после обеда, продолжая сильно хромать, и мой первый вопрос был – „Значит, война?". Беседовский рассмеялся: „Какая война? Никакой войны не будет. Наши воевать не могут, и Хрущев это отлично знает. Это „советологи" бьют тревогу, потому что в советской политике понимают столько же, сколько некоторые животные в апельсинах. Хрущев сдастся, сохранив лицо, о чем и идут переговоры".

Как известно, так оно и было. Но этот эпизод открыл мне глаза на Беседовского, объяснил его „смелое" поведение. Отсутствие страха быть похищенным или убитым чекистами. В сущности, его фальшивки ни с какой стороны Москве не мешали, лишь путая карты западных столиц, и в каком-то отношении были Кремлю даже выгодны. Поэтому я и не исключаю возможности, что между ним и советским посольством было заключено некое „джентльменское соглашение".

А как он писал свои книги, я узнал от него в нашу последнюю встречу. У него было что-то вроде картотеки с именами всех известных советских и иностранных руководителей. Скажем, там было записано, к примеру, что Сталин находился такого-то числа в таком-то городе, где произнес речь, тогда как Молотов в другом городе встретился с английским или французским министром. И это было действительно так, а что они говорили, придумывал уже сам Беседовский. Так однажды он предложил мне открыть с ним вместе агентство печати. Я изумился: „А где же мы будем доставать новости?" – „За новостями дело не станет: их будет больше, чем надо!" Я, конечно, отказался, но он и не настаивал.

В заключение хочу сказать несколько слов о душевно-человеческой стороне этого воистину гениального авантюриста и фантазера. Он был небольшого роста, крепко сложенным человеком с привлекательным, даже красивым лицом. Когда я с ним познакомился, у него была приятельница, миловидная француженка. Потом француженка куда-то исчезла. Говорили, что она ушла к одному весьма известному в те годы человеку. И вот, как-то, в последний год нашего знакомства, когда Беседовский был уже болен, я вдруг снова встретил у него ту француженку. Он мне рассказал, что богатый покровитель ее бросил, и она очутилась на улице. Как это вышло, – уж не помню, но Беседовский великодушно предложил ей жить у него, дал ей комнату в своей квартире, прося ее ходить за покупками и убирать квартиру.

И вот сейчас, вглядываясь в него через столько лет, „сквозь смерть", когда отступают на задний план все приключения и авантюры, я понял в нем то настоящее, что зачастую при жизни он сам так тщательно скрывал: его душевную суть. Поэтому я никогда не помяну лихом мои встречи и общения с Григорием Зиновьевичем Беседовским: в них было много настоящей человечности.



Марсель Боди, Вл. Максимов, проф. П. Паскаль
(слева направо)

## МАРСЕЛЬ БОДИ

Он был один из – как я их называл – „моих трех большевиков”. Двое других – Борис Суварин и Петр Карлович Паскаль. Всех трех я отлично знал, но Марсель Яковлевич (как мы, русские, его величали) Боди был наиболее мне близок и больше всех мною любим. Причин тому было много. Во-первых, в течение лет пятнадцати я регулярно его встречал каждую пятницу в Шату (в окрестностях Парижа), куда ездил к моим знакомым Крымовым и оставался там ночевать. Да и познакомился я с ним у них, он был их соседом в пяти минутах ходьбы.

Это были 60-70-е годы, когда он для амстердамского Института социальных наук переводил с русского на французский Бакунина (что-то вроде десяти объемистых томов). Русский он знал хорошо, но говорил с невероятным акцентом и неоднократно обращался ко мне за помощью, когда приходилось иметь дело с устаревшими оборотами или архаизмами. Бывали случаи, когда пасовал и я.

Он был женат на Евгении Павловне Орановской, которая долго была секретаршей Чичерина, одно время – стенографисткой Ленина.

Это был настоящий самородок, в смысле несоответствия той среде, из которой он вышел. Сын простого ремесленника, он начал свою „карьеру" типографским рабочим в Лиможе, но с 16-ти лет „влюбился" в Толстого и начал изучать русский язык. Потом стал активным пацифистом и вступил в социалистическую партию Жореса. В марте 17-го он уже в Петрограде, а в октябре – в Москве, где с Паскалем основал „Французскую коммунистическую группу". В эти годы Боди знакомится с Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Рыковым и другими „красными звездами" того времени. В какой-то момент он стал даже советским гражданином. Когда А. Коллонтай была назначена советским послом в Норвегии, Боди очень быстро стал ее ближайшим сотрудником и советником. На каком посту, – уже не помню.

Биографические справки не входят в рамки моих воспоминаний „Сквозь смерть". Но в случае Марселя Яковлевича они оказались необходимы, потому что мало кто из русских о нем слышал, и я не знаю, как иначе представить столь оригинальное „человеческое явление", каким был влюбленный в Россию, в Толстого и в русский народ этот „лимузинец" (уроженец Лиможа). Во Францию он вернулся не без труда в марте 27-го года. С конца 25-го он почувствовал, что „пахнет жареным" – его начали подозревать в „уклонах", а затем он окончательно стал „persona non grata". Ему пришлось чуть ли не пешком пройти часть Украины, укрываясь в незнакомых хатах, где его в любой момент могли выдать. Вернулся Боди начисто излеченным от советизма, а вскоре вышел и из французской компартии. Остались лишь нежные воспоминания об Александре Михайловне Коллонтай, портреты которой украшали стены его квартиры в Шату. Но кто из нас без „портретов".

Познакомившись, мы очень быстро сошлись. Он был человеком без комплексов, любил рассказывать о своем советском „опыте", причем рассказывал красочно, потрясая

кулаками, как будто был на митинге. А говорить он умел, как настоящий оратор. Иногда мы даже боялись – входя в раж, он так краснел и волновался, что его мог хватить удар.

– Я их знаю, этих ко-ко! Сколько раз я им подписываль чеки! Сколько раз посылаль доллары в дипломатической вализ!

Он любил природу, зверей, птиц. В садике, окружавшем его дом, он завел кролика, и нужно было видеть, с какой заботой и любовью он за ним ухаживал и как горевал, когда кролика кто-то украл.

У Крымовых же я познакомил его с моими друзьями Рафальскими, и знакомство это быстро перешло в дружбу: и Рафальский и Боди были людьми политическими, так что тем для разговоров и споров было больше чем достаточно. Как Рафальские, так и Боди любили природу, и мы не раз на моем автомобиле ездили за Париж собирать грибы, ездили на целый день, с пикником на какой-нибудь уютной полянке или под деревом, прячась от разгулявшегося солнца. Грибы он собирал честно, хорошо в них разбирался, и часто пел при этом русские песни. И тогда его старческий голос звучал молодецки, приводя в восторг и Рафальских, и меня.

Ко всему этому прибавлялись его недюжинные кулинарные способности и радушное гостеприимство. Они меня и подбили на маленькую „авантюрку".

Я задумал организовать у него (в моей квартирке места бы не хватило) „пикантную" встречу: три „большевика" – Боди, Суварин, Паскаль, чета Рафальских, мой сотрудник и друг Рыбаков (который раньше их и не знал) и я. Боди пригласил еще Паниных. Все мы были антикоммунисты, но каждый по-своему. „Большевики", конечно, ненавидели режим, но сохранили некоторую „ностальгию" по Ленину: „Ленин все же до сталинизма не дошел бы"; Рафальский, наоборот, видел в Ленине создателя „системы", от которой ничего другого и ожидать было нельзя; Рыбаков был единственным, кто испытал на своей спине и 3 года китайско-советской границы, и советские карцеры, и советские заводы. Я – о советском режиме знал лишь понаслышке, никогда

ни в какой партии не состоял, а во время войны надеялся, что послевоенный Советский Союз очеловечится. Словом, политически был „подкован" меньше всех.

Здесь еще надо заметить, что прием Марсель Яковлевич устроил царский. Закуски, вина, жаркое (тушеное мясо, им самим приготовленное, ибо он был первоклассным поваром и это „искусство" любил) были потрясающие, как в ресторанах с „четырьмя звездочками". Прислуживала и помогала на кухне его дочь – жена довольно известного врача. Обстановка сложилась сияющей, и наше настроение было под стать. Первые полчаса прошли в разговорах о погоде, о „текущих событиях", словом, во взаимоознакомлении: ведь единственным человеком, знавшим всех, был я, большинство же встретились в первый раз.

И вот здесь сидевший возле меня Рыбаков, вперившись взглядом в восседавших против нас „большевиков", неожиданно – правда добродушно – ляпнул: „Так, значит, это вы приехали к нам в Россию разводить коммунизм?" Быть может, формула была иной, но смысл передаю точно. Тон был добродушно-шутливый. Но вопрос – не в бровь, а в глаз. Суварин сослался на „эпоху", на надежды молодежи (ведь каждому из них в те „баснословные" и „глухие" года было чуть больше 20-ти!); Паскаль – на свою надежду на то, что марксизм можно будет „просветлить" христианством. (Кстати, эта совершенно дикая идея осталась у него до конца жизни, несмотря на то, что он продолжал быть глубоко верующим католиком.)

Хотя вопрос Рыбакова был ядовит, дискуссия носила явно добродушный характер. Все немного обострилось, когда Рафальский, умелый и острый полемист, „сел на своего испытанного конька": всему виной и причиной Ленин, а Сталин – лишь его верный и последовательный ученик. Ввернул же он эту фразу умышленно, зная, что мои „большевики" продолжают питать некоторую слабость к основателю „системы". (Это, кстати, можно вывести и из монументального труда Суварина „Сталин", объемистой, основательно документированной книги, вышедшей в 1935 году и затем с не-

большими дополнениями переизданной в 1977 и совсем недавно в конце 1984. Сейчас она считается всеми советологами мира основным пособием по изучению не только сталинизма, но советского коммунистического режима вообще.*)

Из „большевиков" наименьшим „ленинцем" был, пожалуй, Боди. Ему, как анархисту и пацифисту, была противна всякая диктатура, да и в СССР он отправился в надежде, что марксизм „установит мир во всем мире". Встреча все же прошла, ко всеобщему удовлетворению, мирно, и я запомнил, как отвечая Рафальскому, Суварин и Паскаль аргументировали свои позиции еще и тем, что, зная (из личного общения) как и „отца" системы, так и „отца" народов, они были совершенно уверены, что Ленин никогда не допустил бы тех зверств, которые практиковались при Сталине и с его благословения. Рафальский сразу же напомнил Кронштадт, Рыбаков его поддержал, что-то энергично доказывала Панина, сам же Дмитрий Михайлович сидел на противоположном конце стола и больше молчал. За дискуссией время незаметно приблизилось к 5-ти, и нужно было расходиться. Кто одолел в состязании, – сказать не могу. Знаю только, что хозяин был очень доволен „встречей" и неоднократно ее вспоминал.

Но вернусь к Боди. Вернусь „сквозь смерть", потому что между нами образовалась настоящая душевная теплота, когда поистине хочется сказать: „Не говори с тоской, их нет, Но с благодарностию б ы л и". Да, был Марсель Яковлевич Боди, старик с душою ребенка. В молодости, конечно, имел он романы и „авантюры", но по-настоящему любил только Коллонтай и Бакунина. Коллонтай – дело чисто личное, Бакунин, в значительной степени, общественное. Он его знал досконально и не терпел Маркса, потому что тот поссорился с Бакуниным. Восхищался бакунинскими пророчествами о „желтой опасности": „Подумайте, почти сто пятьдесят лет назад, а как верно!" („Пророчества", действительно, были страшноватыми и прочно обоснованными.)

---

* Русский перевод книги выйдет в издательстве OPI в 1987 году.

Сам Марсель Яковлевич был беспартийным, ни за кого не голосовал, презирая все партии, лишь „сводящие свои партийные счеты и не заботящиеся о народе". На мои замечания, что все же существуют небольшие пацифистские группы, отвечал, что они „просто больваны, неудачник, ничего в политика не понимащие". Само собой, был абсолютным атеистом, на религиозные темы говорить не любил, было видно, что они ему чужды. (Но насколько же он был человечней, мягче, отзывчивей многих, считающих себя религиозными людьми, и если „по делам" будет судиться человек...)

Иногда мне приходилось слышать, как он спорил с французскими коммунистами и как он их беспощадно сокрушал своими аргументами: „Вы все судите понаслышке, коммунизма в глаза не видели, а я не только видел и жил десять лет при нем, но я его еще и строил". Знал он и всех кумиров от Ленина до Троцкого, и сам же из Москвы компартиям чеки посылал и знал, на чьи деньги построен бункер на Колонель Фабьен (железобетонное здание ЦК французской компартии на площади Колонель Фабьен). Споры почти всегда кончались посрамлением противников, не знавших, что отвечать такому „бульдозеру", но не думаю, чтобы их могло что-нибудь переубедить: ведь одержимость и фанатизм бытуют вне здравого смысла и логики.

Одно время он даже издавал, почти исключительно на свои деньги, небольшой ежемесячник с непременными выписками из Бакунина и разгромной статьей в адрес какой-нибудь советской или другой коммунистической инициативы. Журнальчик просуществовал около трех лет и прекратился после болезни и смерти его верной сотрудницы (имени уже не помню), тоже убежденной анархистки и пацифистки. Само собой, пацифизм Боди и его журнал ничего общего не имел с пацифизмом „зеленых" и других подобных им.

Последние три года я с Боди уже не встречался, так как в Шату после смерти Крымова, а затем и его жены ездить перестал. Но вижу — словно все это продолжает происходить на моих глазах — его коренастую, хорошо поставленную на небольших ногах фигуру на базаре в Шату, где он или вы-

искивает дыни и виноград (получше!) или разговаривает со своими бесчисленными знакомыми (ведь жил-то он там чуть не сорок лет!).

Скончался М. Я. Боди в ноябре 1984 года, и было ему 90 лет.

Боюсь, что я скомкал свой рассказ. Садясь его писать, боялся, что не уместится в положенные размеры, и пришлось считать каждую строчку и каждое слово. Грустно, что не удалось мне по-настоящему почтить этого исключительного человека и преданного друга. Не хватило таланта.

# БОРИС СУВАРИН

Как только я узнал о смерти Бориса Суварина (1.11.84), я сразу же позвонил М. Я. Геллеру и попросил его написать для „Русской мысли" некролог. Михаил Яковлевич удивился: „Я думаю, что написать должны вы. Вы же знали его дольше меня". – „Может быть. Но я знал его как человека. Вы же – как политического деятеля, историка, публициста, ученого".

Да, я знал Бориса Константиновича Суварина очень хорошо, но преимущественно с точки зрения человеческой, моральной, если так можно сказать, „внутренней", и до сих пор удивляюсь – как это вышло, что между нами, совершенно разными людьми, в том числе и по возрасту, – он был старше меня на 12 лет, – могли сложиться близкие, теплые отношения? Кем я был для него? Скромным журналистом, быть может, написавшим несколько неплохих статей в русской эмигрантской печати.

Суварину были открыты органы печати всего мира, кроме коммунистических. Он знал, а иногда и дружил с сильны-

ми мира сего, начиная (в молодости) с первой коммунистической верхушки „страны Советов", от Ленина до Сталина, затем с Л. Блюмом, Буллитом, Хо Ши Мином (он его вывел в люди), Грамши, Горьким, Бабелем. Он был одним из основателей французской компартии, сотрудником Британской энциклопедии, основателем и главным редактором журналов „Социальная критика" и „Контра сосиаль"; в 1935 году выпустил монументальный труд „Сталин", книгу, с тех пор два раза переиздававшуюся и остающуюся и по сие время основным документом для изучения Советского Союза, советского политического строя и одного из величайших во всей мировой истории тиранов.

Для Суварина СССР был „империей лжи". Каждая из четырех букв этого названия – ложь, говорит он. „Союз" – никакого союза не было и не будет, „Советских" – никаких советов нет, они давно разогнаны, „Социалистических" – социализм начисто отсутствует, „Республик" – нет и в помине не было.

Но все же – как я познакомился с Борисом Свариным? Это было еще в „водовский" перид „Русской мысли" (С. А. Водов был вторым, после Б. Лазаревского, редактором газеты. Он скончался в августе 1968 года.) „Р. М." часто печатала статьи Суварина, переводя их из „Контра сосиаль", и почти каждый раз он ворчал из-за неточности перевода. Водов поручил делать переводы мне. Не знаю, почему, но мои переводы его удовлетворяли, хотя переводчик я был более чем посредственный. Затем, по каким-то газетным делам, мне пришлось несколько раз к нему заезжать (что было очень просто, потому что его квартира находилась близ станции прямого метро от меня к „Р. М."). Обыкновенно визиты были короткими: исполнив поручение, я сразу же уходил. Но однажды, в конце 1967 года, то есть во время „Пражской весны", заехав к нему с очередным поручением Водова, я рискнул задать ему вопрос – что он думает о Чехословакии. („Рискнул", так как обычно он принимал меня довольно сухо, и мне казалось, что разговор со мной его не интересует.) Но здесь случилось наоборот.

Он попросил меня сесть, оживился и с увлечением, хотя и с убежденностью ученого, объяснил, что с „весной" ничего не выйдет. Я пытался что-то промычать (уж очень хотелось верить), и здесь Б. К. разразился целой лекцией о советском коммунистическом режиме, сожалея, что его совершенно не знают иностранцы и плохо понимают русские эмигранты: „Дело не в том, чтобы ненавидеть коммунизм, от этого советскому руководству не холодно и не жарко, но в том, чтобы з н а т ь, что это такое".

Во второй или в третий раз зашел разговор о сбежавшей Аллилуевой. Он считал, что сколько-нибудь стоющих „разоблачений" от нее ждать не следует. Сталин, безусловно, ее любил, но никаких „тайн" ей не доверял, а тем, кто мог с ней общаться, было „предложено" на политические темы с ней не разговаривать. „Предложение" же Сталина имело силу закона. Разумеется, и сам Суварин не знал, что говорил и чего не говорил отец своей дочери, но нет сомненья в том, что он понимал Сталина лучше, чем его собственная дочь. Действительно, обе книги Аллилуевой произвели сенсацию, но никаких тайн кремлевского „королевства" не выдали.

Потом я как-то спросил Суварина, могу ли я заезжать к нему и без „дела", он сразу согласился и, мне кажется, даже обрадовался. Чему? Понял я это лишь несколько лет спустя, когда он мне однажды с грустью заметил, что его друзья и „однополчане по возрасту" начинают умирать, новых знакомств заводить он не хочет, а ко мне привык. И чего-чего он мне только не рассказывал! Я же по дурацкой привычке (лени?) никогда ничего не записывал, а теперь из-за стареющей памяти многого не помню, многое могу перепутать. Но когда речь идет о Суварине, такого быть не должно: он до конца своих дней был предельно точен, а если в чем-либо сомневался, сразу же лез в свой архив, где все было с точностью расписано и распределено. „Архив"! Он с настоящей болью жаловался мне, что от архива его остались лишь крохи: все было захвачено немцами, когда ему, как еврею, пришлось с женой бежать в Соединенные Штаты.

Жил он тогда в большой квартире на пятом этаже солидного барского дома на столь же барской авеню де Сегюр, с просторным кабинетом, большие окна которого выходили на верхушки огромных платанов, на которые надо было смотреть сверху вниз. В кабинете стоял рояль, на нем фамильные фотографии и вдоль двух стен полки с книгами, а места хватило бы для 20-30 человек! Сам он был маленького роста, довольно плотный и всегда жаловался на какие-то недомогания, хотя производил впечатление очень крепкого человека. Впоследствии я узнал от его „коллег" по коммунизму Боди и Паскаля, что это было у него почти всегда. „Дай Бог всем быть такими больными, как Борис!" – смеялись они. Так оно и было до двух его последних лет.

Через какое-то время он познакомил меня со своей женой, которая потом приносила мне чашку чая или приглашала в столовую. Я понял, что „продвинулся в чинах". Так начались „мои" у него среды. В первую очередь обсуждалось то, что было напечатано и с чем он был не согласен в „Р. М.", особенно если это касалось СССР или коммунизма вообще. „Выговоры" его бывали строгими, но и благожелательными. Если же я по каким-то приничинам не приходил, а он был недоволен чем-то, то на следующий же день я получал письмо с обличением того, что он считал неточным.

Разговоры с Сувариным были всегда интересны, почти всегда они касались политических тем и текущих политических событий. Он любил Соединенные Штаты, но возмущался их наивной политикой и непониманием Советского Союза, руководителям которого они продолжали доверять. Так он мне сказал, что в разговоре с Буллитом после возвращения из Ялты, Рузвельт сказал: „Мы заключили со Сталиным джентльменское соглашение", на что Буллит, бывший одно время американским послом в Москве, ответил: „Но, господин президент, Сталин не джентльмен, а бандит". Не лучше, по его мнению, обстояло дело и с Трумэном. Вернувшись из Потсдама, он заявил тому же Буллиту: „Я близко познакомился с Джо Сталиным, и я люблю этого старого Джо, это порядочный парень. Но он в плену у политбюро и не может

делать, что хочет. Он принимает на себя обязательства, и если бы мог, он бы их исполнял, но члены правительства не позволяют ему это делать..." – „Подумайте только, – комментировал Суварин, – они думают, что в СССР есть правительство! Там есть генеральный секретарь – и попугаи. И даже теперь, а уж при Сталине..."

Поэтому он отказывался писать в газетах и журналах: „Какой прок? Все равно никого не убедишь". Лишь два раза в месяц в „Эст – Уэст" (журнал, ставший продолжением „Контра сосиаль") появлялись его статьи.

После того, как я его познакомил с В. Рыбаковым, который подарил ему свою книгу „Тяжесть" (действие в ней происходит в основном на советско-китайской границе), он меня спросил: „Неужели все это правда?" – „Передайте Суварину, – сказал мне Рыбаков, – что это лишь половина правды". Суварин неоднократно говорил мне, что Рыбаков – единственный человек, от которого за последние годы он действительно узнал что-то новое о СССР. Зная Суварина, могу с уверенностью сказать, что это большой комплимент. Такого не удостаивался ни один советолог.

Его обвиняли в некоторой слабости к Ленину, как и многих бывших коммунистов. Он начисто это отрицал, говорил, что Ленин – основатель „системы", а Сталин был рьяным его последователем.

Как-то в 78-м году моя знакомая А. А. Евреинова, у которой остановилась дочь Луначарского (в свое время Суварин по-настоящему дружил с Луначарским), сказала мне, что она хотела бы встретиться с Б. К. Просьбу я передал. Суварин меня спросил: „А что она делает?" Я позвонил Евреиновой, и она мне ответила, что работает в агентстве „Новости". „Передайте ей, что мне с ней абсолютно не о чем говорить", – сказал Суварин. Я так и передал. Дочь поняла и больше не настаивала.

Суварин был очень чувствителен к еврейскому вопросу, но больше „по традиции" (не знаю, как иначе сказать), был упорным агностиком и – насколько знаю, в Израиль никогда не ездил. Если же в ком-то или в чем-то чувствовал или

подозревал антисемитизм, сразу разрывал с ним отношения. Как-то в разговоре на эту тему он мне сказал, что это происходит не только от его еврейства, но и из уважения к человеческой личности: лишь животных делят по породам, для человека это унизительно.

Вспоминаю полемику Солженицына с Суввариным о „Ленине в Цюрихе". Мне было неприятно, что, как мне казалось, Солженицын воспринимал позицию Суварина эмоционально, считая, что Суварин не понимает художественной сути произведения. Я могу свидетельствовать, что Суварин с настоящим пиететом относился к Солженицыну. Он считал, что Солженицын совершил ошибку в чисто историческом плане в вопросе о немецком золоте Ленину. Я много и часто разговаривал с ним о Солженицыне, он утверждал лишь одно: что А. И. не знаком со всеми материалами о немецких деньгах. Кто был прав? – не мне судить: в этом деле я полный профан. Напротив, отлично помню – это было в апреле 75-го – настоящее восхищение Суварина статьей Солженицына „Третья мировая". „Вот она – правда! – буквально захлебывался он. – Лишь здешние ослы могут говорить об 'оттепели', о 'мирном сосуществовании'. И в этом трагедия, это неизлечимая, хроническая болезнь Запада".

Лет за пять до кончины Суварин продал свою квартиру на авеню де Сегюр и с женой переехал в дом для престарелых, по всей вероятности, сравнительно дорогой, потому что имел там отдельную квартиру, также с довольно большой комнатой, где мог принимать гостей. Но это, конечно, все же не был „Сегюр", было видно, с каким трудом он привыкал к жизни там. Эта квартира находилась на рю Тибумери, в 15 минутах от моего жилья на рю Эрланже, я продолжал два раза в неделю его навещать. Он все больше жаловался на недомогания, несколько раз ложился в клинику для „общего осмотра", затем ему сделали (и довольно удачно) операцию катаракты; по-прежнему в разговорах он оставался оживлен и точен.

Помню, как он рассказал мне весьма показательную для предвоенного настроения французов историю, касающуюся

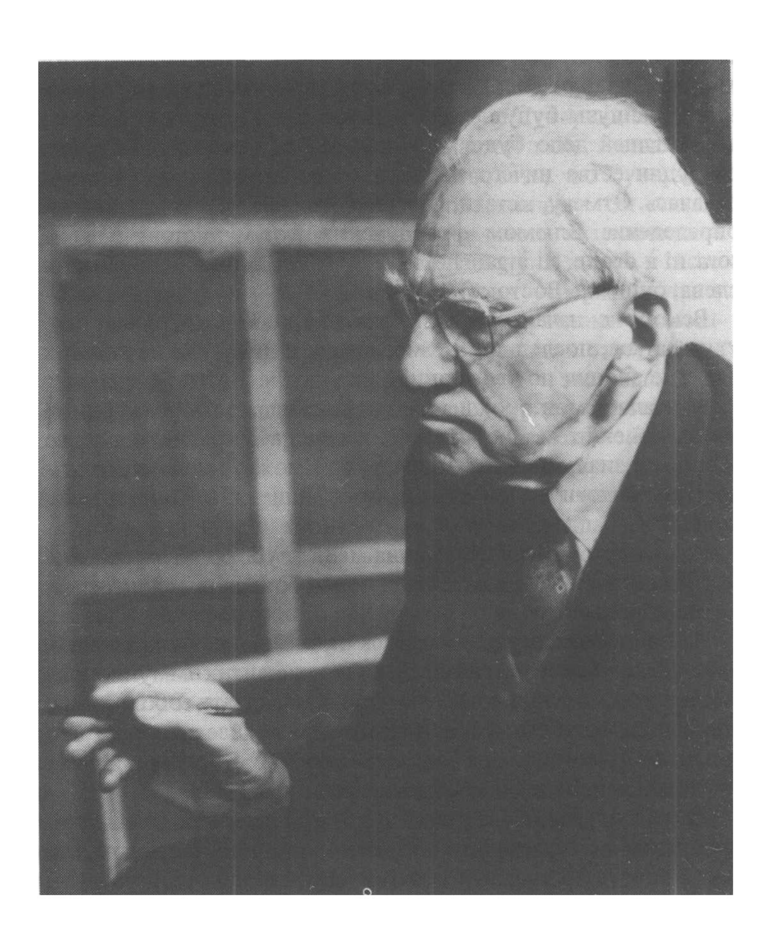
Л. Блюма. Как только Франция и Великобритания объявили (3 сентября 1939 г.) войну Германии, Блюм вызвал к себе Суварина и предложил ему редактировать задуманный им журнал, в котором сам собирался сотрудничать и который должен был „ободрять" французов, доказывая им, что „немцы победить не могут". Разговор длился больше часа, потому что Суварин был диаметрально противоположного мнения: французы будут разбиты наголову и довольно быстро, а с Англией дело будет сложнее. Из задуманного Блюмом сотрудничества ничего не вышло, но дружба между ними осталась. Отмечу, кстати, переданное мне Сувариным меткое определение Блюмом французских коммунистов: „Ils ne sont ni à droite, ni à gauche, ils sont à l'Est" (они ни справа, ни слева, они – на Востоке).

Вскоре я начал замечать, что здоровье Суварина стало ухудшаться, последние 6-7 месяцев я к нему уже не ходил и даже не звонил по телефону, боясь потревожить. (Здесь тоже сказалась моя врожденная „ненормальность": чем ближе мне человек, тем мне физически труднее справляться о его здоровье, зная, что из-за возраста оно может лишь ухудшаться. Так было и с моим отцом, оставшимся в Константинополе.)

Известие о кончине Суварина меня глубоко потрясло, может быть, именно потому, что я долго боялся осведомляться о его здоровье.

На похоронах, куда собрались около ста его почитателей, цвет французской и живущей в Париже антикоммунистической элиты, когда я подошел, чтобы высказать соболезнования его вдове, и объяснил, почему я последнее время не звонил и не приходил, она мне ответила: „А Борис все время вас поджидал, ведь он так вас любил и уважал".

Да не подумают читатели, что я привожу эти слова ради саморекламы. Я пишу это с глубокой скорбью и стыдом, каясь в присущей мне в подобных случаях некоей душевной трусости. Мне просто стыдно, и я хочу, чтобы его родственники и друзья это поняли.



## СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ШАРШУН

С Сергеем Ивановичем Шаршуном я познакомился в самом начале 30-х годов. Он был членом нашего антропософского кружка, возглавлявшегося Н. А. Тургеневой. Знал, что он – художник и очень бедствует, так как его картины не покупаются. Жил он тогда в каких-то полубараках в „Сите Фальгьер" в XV округе Парижа в квартале, специально выделенном для еще не признанных талантов. Он был самым молчаливым из всех членов кружка. И только совсем недавно я узнал от большого его почитателя профессора-слависта Р. Герра, что к тому времени он уже прошел длинный путь (С. И. родился в 1888 году) не только художника, но и писателя, хотя и очень своеобразного.

Прославился же Шаршун, и теперь почти уже всемирно, своей живописью. Шаршуна же литератора знает лишь узкий круг славистов и его друзей.

Ровно ничего не понимая в современной живописи, как, впрочем, и в современной музыке, „сквозь смерть" я могу писать о Шаршуне лишь, как о человеке, в каком-то смысле

„ископаемом" и в то же время „сверх-временном" или, как он сам о себе говорил, „примитивном со сложной натурой". Что касается „примитивной" – быть может. „Сложной"? – Если покопаться, да как следует, какая человеческая натура окажется не сложной?

Во время войны я был в Лионе, где был С. И., не знаю. После войны мы встречались реже: или у общих знакомых, или на литературных собраниях, или иногда, фланируя вдвоем вдоль Сены вечерами, когда в воде отражается собор Парижской Богоматери, Консьержери, мосты и плывут вместе с улизнувшими с собора химерами по начинающей оранжеветь воде. О чем мы тогда говорили? – „За жизнь", как сказал бы Адамович, которого мы оба чтили, особенно в последние его годы. Говорил больше он. Вода, точнее водная стихия, его вдохновляла, он чувствовал себя „кармически с нею связанным", но – как? Объяснить не мог. Однажды сказал, что иногда чувствует, что если в Сену (даже в океан) бросится, то „не потонет". Как же это так? – удивлялся я. „Вы думаете, что я знаю? Я сам не знаю как". Вероятно, поэтому большинство его картин (запомнившихся мне) изображали воду или ею вдохновлялись: однотонная бессюжетная поверхность, с разнонаправленными мазками, в некоторых местах оттенявшаяся более интенсивным цветом той же краски.

На одной из его выставок, перед одной из таких картин, я так ему и сказал. И, конечно, попал пальцем в небо. Стоявший возле меня какой-то американец выпалил, что это – „симфония" не то Баха, не то Бетховена и... угодил в цель! Шаршун ликовал, как ребенок, даже изменился в лице, мою же оплошность чистосердечно простил. А сердце у него действительно было чистое, как у новорожденного.

В один из, как говорится, „прекрасных" дней (какой? уж не помню) он мне торжественно, даже ставшим „официальным" (понимайте – как хотите) голосом заявил: „Товар пошел", что означало – картины начали хорошо продаваться. Здесь маленькое отступление. С. И. происходил из купеческой семьи, был сыном настоящего (как сам определял)

„купца-кулака", нещадно обдиравшего кого только мог, и вот теперь сын „начал выплачивать" его долги. Он щедро раздавал деньги всем, кто у него просил и не просил. Одному нуждавшемуся писателю издал на свой счет его роман, другому купил квартиру, третьему просто совал кредитки в карман.

Когда я в последний раз его видел, ему было уже далеко за восемьдесят, но выглядел он по-прежнему бодро и я сказал бы „живуче", тем более что он уже давно уверял своих друзей, что будет жить до ста одиннадцати лет! Почему до 111? – Он объяснял, что так рассчитал то ли по Зодиакам, то ли по каким-то еще „знамениям", и утверждал с такой гранитной уверенностью, что я абсолютно ему верил. Затем узнал от знакомых, что он заболел и как будто опасно, но моя уверенность не поколебалась, пока, словно оплеуха (да, именно оплеуха!) : – „Шаршун умер"...

До сих пор недоумеваю, – какое он имел право? И так скоро, и так неожиданно, и вопреки 111-ти?

Но Сергей Иванович был еще и писателем, и довольно много написавшим: большую автобиографическую – не в смысле жизненных путей и похождений, но душевно-духовных скитаний и метаморфоз – повесть „Долголиков", три (известных мне) сборника рассказов – „Подвернувшийся случай", „Без себя" и „Без маяка". Рассказы оригинальные, с умелой выдумкой и даже былью, во всяком случае, более красочные, чем живопись, и все, конечно, „вокруг самого себя". Он, кроме того, регулярно печатался в престижных „Числах" и упорно выпускал (по мере накопления) четырехстраничные листовки 21 х 14 см, „Клапаны" и „Вьюшки", результат „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет".

Вот несколько примеров таковых:

„Индюк учился кричать у флейты".

„Клавесин – Жар-Птица, бегущая по золотым травам".

„Поджидая что-нибудь нужное, – уверен, что оно – рассыпется прахом, за мгновенье до осуществления".

„Я, всегда и всему – верю, принимаю немедленно".

„Появление ребенка?

Это новое рождение я, наконец, осуществил – во сне.

Теперь моя жизнь посвящена – семейному счастью, земному процветанию, продолжению человеческого рода.

Тону, утопаю в блаженстве”.

Здесь предельно кратко, но столь же предельно полно, представлен весь Шаршун: художник – (индюк – флейта); писатель – „осуществил во сне” и превратил в „блаженство”; человек – „я всегда и всему верю”, несмотря на – „рассыпется прахом”.

Шаршун мыслил образами, снами, верою, прахом. И несмотря на такую, казалось бы, парадоксальность, был на редкость целостным, как бы из одного куска дуба, высеченным человеком. Во всяком случае таким он мне казался, производил такое впечатление. Или – таковой была простота его сложности, в чем-то утверждавшая согласие с самим собой. Но здесь опять трудность: для меня, согласие с самим собой дело почти неосуществимое, разве что для абсолютных примитивов, которых Сергей Иванович никаким краем не касался.

Узнал от Р. Герра, что Георгий Адамович называл его „раскольником и отшельником заволжских степей”. От „отшельника” и „степей”, действительно, в нем что-то было. От „раскольника” – не знаю. Раскол предполагает что-то резкое: отсечение чего-то и от чего-то топором. Никакой резкости и никакого „топора” в С. И. я не чувствовал, он скорее был волнообразным (таким он мне представлялся) переходом от одного умонастроения к другому, но всегда в самом основном, связанным „своим”, природным единством. Везде и всюду он вносил душевный русский уют, думаю, своей настоящей добротой, по всей вероятности, им самим даже не осознававшейся: был добр и, когда мог, щедр потому, что быть другим не мог.

Скончался С. И. в 1975 году. Как и почему у него было украдено 24 года, – до сих пор понять не могу.

## МАРК ШАГАЛ

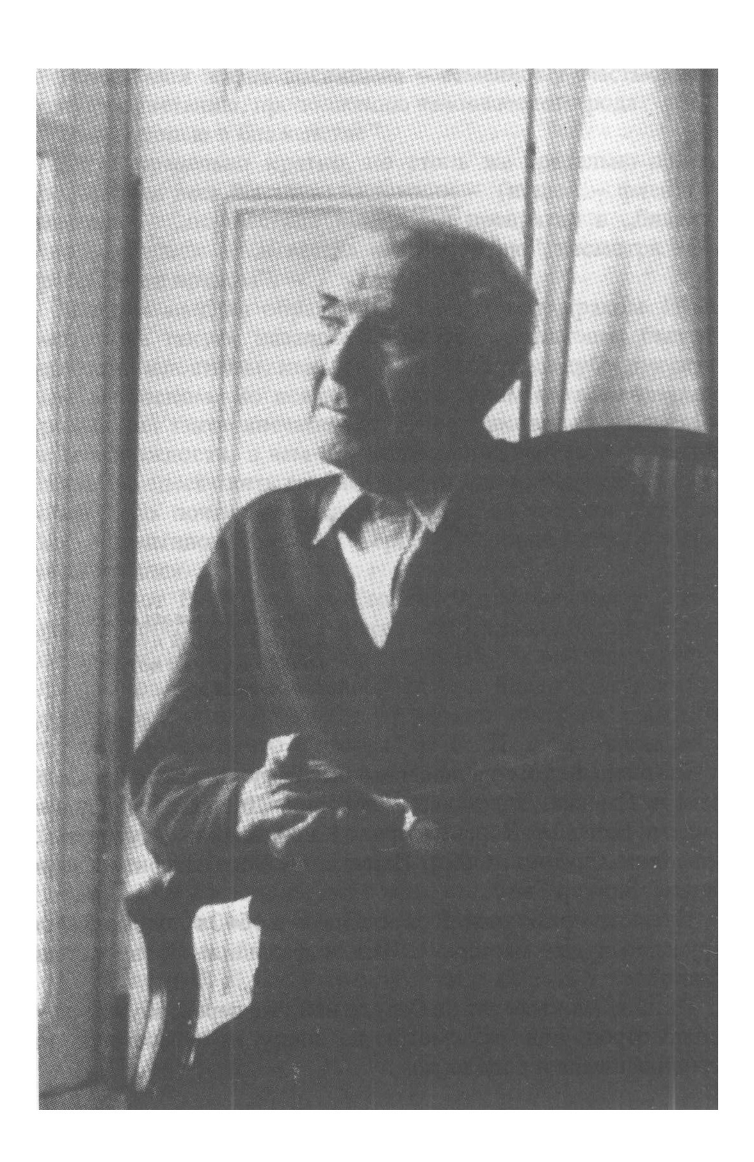
*Марк Шагал шагал по небу,*
*В небе Млечный путь,*
*Только черту на потребу*
*Творческая муть.*

*Юрий Одарченко*

Старинный дом на набережной Анжу, в „Сите”, самом центре Парижа. Здесь все – история: Дворец Правосудия, Святая Капелла, Консьержери... Казнь Марии-Антуанетты... Людовик Святой... Собор Парижской Богоматери... Квазимодо... Виктор Гюго...

На доме мраморная доска: „Здесь в 1640 году скончался оружейных дел мастер...”. Имя и фамилия. Но не все ли равно?

Окна дома выходят на Сену, в ней уже перевернут вечереющий город. Еще раз смотрю на доску, на набережную, на кривляющиеся в воде пятна...



Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома,
Испытывая вдохновенье,
Почти сводящее с ума...

Георгия Иванова среди нас уже нет. Помню, мы шли с ним по этой набережной лет десять назад и он читал мне эти строки...

Поднимаюсь на второй этаж, звоню...

На Шагале коричневые бархатные брюки – такие носят савойские крестьяне – оливковый свитер, желтая с расстегнутым воротом рубаха.

– Никогда не любил одеваться. Для меня это настоящая мука, да и одевался плохо, – как-то пожаловался он.

Комнаты большие, светлые, стены белые, совершенно пустые, ни картин, ни фотографий. В окнах – Сена и в ней перевернутый Париж...

В первой комнате большой старинный – из одного куска – стол. На нем блюдо с фруктами и ваза с цветами: белая и лиловая сирень, тюльпаны. Несколько мягких стульев...

Шагал садится за стол напротив меня. Начинается допрос.

– Мое первое впечатление от жизни? Я прежде всего не хотел жить, ощущал себя мертворожденным... Вообразите белый пузырь, которому не хочется жить... Как будто его набили картинами Шагала!

– Ваши родители – мать, отец?

– Что мой отец? Что стоит человек, если он ничего не стоит. Мне трудно подыскать для него нужные слова. Он поднимал тонны бочек с селедками, грузил их на автомобили, в то время как его толстый хозяин стоял в стороне, как набитое соломой чучело... Потом его раздавил автомобиль... Только теперь я понял, что это был святой человек...

Как трудно говорить о прошлом! О прошлом можно только плакать... Помню речку, бегущую вдаль, мост, забор, вечный забор, за ним вечный покой, земля, могилы...

Вот моя душа, ищите меня здесь. Здесь, в них, в воспоминаниях, все мои картины. Грустно, грустно...

Помню еще: вечер, лавка уже закрыта, дети вернулись из школы. Отец устало облокотился о стол. Лампа мирно отдыхает, стулья скучают. Никто уже не знает, где за окном небо, куда девалась природа. Все тихо, неподвижно. Мать сидит перед печкой, одна рука спрятана где-то в ней... Все мне было передано через нее. Как часто она говорила: „Да, сынок, вижу, что у тебя есть талант. Но послушай меня – может, лучше тебе стать рассыльным? Мне, право, тебя жаль... Откуда это у нас?

– А как другие относились к вашему таланту?

– Другие? – переспросил Шагал, как бы не услышав вопроса. – Дед был мясником. Он с бабушкой плохо ценил мое искусство, в котором все наоборот и все так непохоже. Зато он очень дорого ценил мясо. Но я обязан и ему: в хорошую погоду дед забирался на крышу, цеплялся за трубу и лакомился там морковью. И вот, представьте себе, некоторые критики с радостным облегчением видят в этих невинных развлечениях деда разгадку моих картин! Но здесь все же есть доля правды: мое искусство не играло никакой роли в жизни моих родственников, зато их жизнь оказала большое влияние на мою живопись.

Был еще дядя-парикмахер. Он меня стриг и брил с безжалостной любовью и даже – единственный – гордился мною. Когда же я написал его портрет и подарил ему, он бросил взгляд на полотно, потом посмотрел в зеркало на себя и сказал: „Ну, нет, храни его сам!"

Так же смотрел на мои упражненья и отец: „Восемь душ детей на руках и никакой помощи!"

Я глотал слезы, думая о моих бедных картинах, о моем будущем, о моем таланте. Меня душил, поднимающийся от горячей воды, смешанный с запахом мыла и соды, густой, липкий пар...

– Неужели никто не понимал вашей живописи? Никто?

– Искусство это тайна. Иногда мне кажется, что я сам не понимаю людей и еще меньше мои собственные картины... В первый год революции я основал в Витебске „Академию художеств" и стал ее директором и председателем. Как-то

по делам Академии меня принял Луначарский. Я слышал, что он марксист, но мои знания марксизма ограничивались тем, что я знал, что Маркс был евреем, носил большую бороду и что моя живопись никак с марксизмом не уживалась. Я сразу отрезал Луначарскому: „Главное, не спрашивайте меня, почему я пишу зеленым или синим и почему в коровьем животе виден теленок и еще что-то вроде этого. Впрочем, я бы очень хотел, чтобы Маркс воскрес и все объяснил...” Луначарский смотрел на меня с изумлением, если не с испугом. Он, наверно, думал: „Почему его корова зеленая, а лошадь улетает в небо? Какое все это имеет отношение к Марксу и к Ленину”? Но он молчал. Он был неглупым человеком...

Вы спрашиваете – понимал ли кто-нибудь мою живопись? Мне казалось, что люди не понимают природу, не видят окружающие предметы, или видят в них не то, что видит во много раз лучше простой фотографический аппарат...

– Марк Захарович, я бы хотел...

– Знаю, знаю: вы хотите задавать вопросы, спрашивать, как все журналисты: как я смотрю на живопись, что я думаю о красках... А что я вам отвечу? Для этого и рассказываю свою жизнь, как я родился и каким я родился... Русская живопись, особенно передвижники, мне всегда были чужды. Я их не понимал. Не моя вина, что я не вижу жизнь, как фотографический аппарат... Если русские художники и должны были стать учениками Запада, они, мне кажется, оказались, в силу их собственной природы, не очень верными учениками. Лучший русский реалист шокирует реализм Курбе. Самый настоящий русский реализм озадачивает, в сравнении с реализмом Моне и Писсарро...

А вот Пикассо. Когда я в первый раз попал в Париж и познакомился с Аполлинером, который меня со всеми и перезнакомил, то как-то за завтраком я его спросил, почему он не представит меня Пикассо? „Пикассо? Вы разве хотите покончить жизнь самоубийством? Все его друзья кончают самоубийством”, – ответил Аполлинер, как всегда, улыбаясь.

Но это между прочим... Воспоминания... Простите...

В Париже, в Лувре, перед полотнами Моне, Милле и других я понял, почему не осуществился мой союз с Россией и русской живописью и почему им был чужд даже мой язык... В России я всегда был с боку припеку. Все, что я делал, им всегда казалось странным, все, что делали они, я считал лишним. Мне больно об этом говорить... Ведь я... люблю Россию...

И после небольшой паузы:

– Но, увы! Я не был нужен царской России и еще меньше теперешней, советской...

Опять пауза...

– Вы бывали на выставках советских художников? Видели их картины? Там все точно, все на месте. Все словно циркулем размечено... Я видел вчера американский фильм: прерии, леса, водопады. А краски-то, краски! Никакому художнику не снились. А как выбран пейзаж, как снято! Загляденье! Но это фотография, хотя и замечательная фотография. Живописи в ней и не ночевало. Я и в детстве такой живописи не понимал. Живопись – не внешний мир, а внутренний, „вещь в себе", недоступная никакой философии и уж тем более фотографическому аппарату.

– А импрессионизм и кубизм?

– Они мне так же чужды, как и реализм советских художников. Когда я смотрю на ухищрения кубистов, я думаю: „Ешьте сами ваши квадратные груши, садитесь сами за ваши треугольные столы!" Для меня искусство – это прежде всего душевное состояние. Всякая же душа свята, душа каждого человека, в какой бы части света он ни находился. Свободно одно лишь честное сердце, у него свой ум и своя логика. Помните Паскаля? Уже примитивное искусство обладало таким техническим совершенством, к которому, жонглируя и ковыляя, еле-еле подходят современные художники. Весь этот формальный багаж мне представляется богато облаченным римским папой, стоящим возле полунагого Христа, или расписанной сверху донизу церковью около молитвы в чистом поле.

Меня называют фантазером. Почему? Я стопроцентный реалист. Я люблю землю.

Шагал задумывается. Букет сирени преображает заходящее солнце. Я, наконец, решаюсь задать давно подготовленный вопрос:

— Марк Захарович, один из старейших советских живописцев К. Юон, сформулировал, по его собственным словам, „отличительные черты, характеризующие искусство социалистического реализма". Мне бы хотелось знать, что вы думаете о некоторых из этих формулировок. Первая их них — „полное единство содержания и вытекающей из него художественной формы".

— Прежде всего, неправильно сформулировано: сначала краски, красочный образ. В Евангелии сказано: „В начале было Слово..." Когда появляется это слово, или краски, то все остальное только прилагается, творится само собой. Творчество есть б е з у м и е. „Единство содержания и формы" хорошо для автомобиля или самолета. Но уже не годится для ковра-самолета. Искусство не техника. Я никогда не считал, что технические тенденции в искусстве могут привести к чему-либо путному.

— Во второй говорится о „волевом характере советской художественной культуры".

— Это просто глупо. Я не отрицаю наличия волевого момента в советской живописи. Он там налицо. Но он-то и привел ее к антихудожественности. Волевой момент проявляется в красках, таится в их природе. Когда художник творит, он творит всем своим существом, а не только одной волей. Воля же воплощается в красках, а совсем не в том, о чем думают советские теоретики.

— В третьей настаивается на „изжитии противоречий между художником и зрителем".

— Подлинное творчество всегда таково, таковы же и подлинные слова и подлинные краски. Прежде всего, не дело художника „мудрствовать лукаво", не мудрствовать, а творить. Тогда и его творчество будет всем доступно и всем понятно. Советские художники жестоко ошибаются, когда

считают, что именно их картины – картины „социалистического реализма", всем доступны и понятны. Повторяю, они доступны и понятны, но только как грубая копия внешней природы, как убогое подражание цветной фотографии. Но как художественное произведение, как то, что раскрывает сущность человеческой души и с нею всей нашей эпохи, они никому не понятны, никому ничего не говорят и не дают, вот точно, как цветастые обои.

– Четвертая подчеркивает „содержание и идейность, составляющие как изначальный момент творческого труда, так и его конечную цель..."

– Я ровно ничего в этом не понимаю: я максималист. Для меня искусство это все, и содержательность, и идейность, и начало, и конец. Еще раз – творчество это безумие. Творчество это вечная революция. Ленин перевернул вверх ногами Россию, я переворачиваю вверх ногами мои картины... Это, во-первых, а во-вторых, – идея, проводимая в философском труде, и идея, воплощающаяся в произведении искусства, два совершенно разных явления. Боюсь, что Юон их спутал или, вернее, их не различает.

– В одиннадцатой требуется „простота и доходчивость языка искусства".

– Об этом уже заботился Курбе. Он в свое время даже проповедовал социалистический реализм. Но что из этого получилось? Доходчивость и простота осуществляются отнюдь не потому, что этого требует та или иная школа, но вопреки этому требованию. Не думаю, чтобы Рембрандт стремился к доходчивости своих картин. Вообще, требования исходят от самого искусства и от самого художника: „ты сам свой высший суд!" – золотое правило. Вспомните Пушкина: он оказался самым доходчивым из русских поэтов и таковым останется на века. А что он писал в „Черни"?

Молчи, бессмысленный народ!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Тебе бы пользы все! На вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей есть бог!

Искусство есть Бог. Какие же о нем могут быть рассуждения, да еще ученые?.. Если же они существуют, то в значительной степени потому, что мало кто понимает, что такое красота.

– Еще один вопрос, Марк Захарович, и перестану вас мучить. Советские теоретики определяют советское искусство как „искусство национальное по форме и социалистическое по содержанию".

– Конечно, да! Всякое искусство национально. Разве моя живопись не национальна! Разве вы не чувствуете моего родного Витебска в моих картинах? Разве можно оторвать живопись Ватто от Валансьена или Ван Гога от Голландии? Вот только мне кажется, что советская живопись не национальна. Разве может быть национальной фотография?

Я поднимаюсь. Марк Захарович предлагает мне приносить ему для „профессиональной шлифовки" мои статьи о живописи.

Уже в дверях:

– Вы бы хотели повидать Витебск?

– Хотел бы... Но вот – я еду завтра в Швейцарию, ездил в Соединенные Штаты, в Грецию, в другие страны, ездил, как к себе домой... Но ехать в Витебск, в мой родной Витебск, в свою страну, ехать, как турист, а перед этим выклянчивать визу... Не могу. Слишком тяжело...*

Я вспомнил: „О прошлом можно только плакать..."

Когда я вышел, было уже почти темно. Прошел несколько шагов по набережной, обернулся...

Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома...

---

* Позднее Шагал все же побывал в СССР, хотя в „родной Витебск" его так и не допустили...



К. Д. Померанцеву —
А. Твардовский
19.XI.65.

## ВСТРЕЧИ С А. ТВАРДОВСКИМ И А. СУРКОВЫМ

*Ночь глубока, более глубока, чем то думал день.*

*Ф. Ницше.*

Сразу же оговариваюсь: в этих воспоминаниях не будет никаких сенсаций и тем более „разоблачений". Это лишь рассказ о моем знакомстве и о последующих встречах с двумя широко известными в Советском Союзе людьми – долголетним редактором журнала „Новый мир" Александром Трифоновичем Твардовским и поэтом Алексеем Александровичем Сурковым. Твардовского за рубежом знают хорошо, особенно после того, как в книге „Бодался теленок с дубом" его описал Солженицын. Но автор „Ракового корпуса" представил знаменитого редактора таким, каким он был в основном на работе и в своей – советской – среде. Я же общался с ним в Париже, где ему иногда приходилось „играть роль", но иногда все же удавалось быть и самим собой. О Суркове, главным образом, известно, что он преследовал Пастернака и многих других „инакопишущих" литераторов.

Добрым словом (насколько мне известно) помянула его лишь Н. Я. Мандельштам. Мне бы хотелось написать о нем предельно объективно.

Мне всегда казалось, что плохих людей много меньше, чем обычно считают. Конечно, существуют закоренелые преступники, садисты, природные интриганы, но их, право, не так уж много. Вот почему я думаю, что человек, каждый человек, в первую очередь считающийся „плохим", прежде всего нуждается в жалости, вызывает жалость. Таким был для меня Сурков. И еще одно замечание. Было это почти 20 лет назад, разговоров наших я не записывал ни на магнитофонную ленту, ни в тетрадь, и поэтому точных слов моих собеседников воспроизвести не могу, но несколько показательных фраз запомнил, и они будут отмечены кавычками.

Итак, это было в ноябре 1965 года. Из газет я узнал, что в Париж из Москвы прилетела группа „русских поэтов из Советского Союза" (так они просили их называть). В группе были Ахмадулина, Вознесенский, Леонид Мартынов, Кирсанов, Слуцкий, Соснора и... Твардовский. Были и другие, но кто – уже не помню. В те „баснословные года" я был еще падок на советские литературные „новинки" (для меня). И Твардовский был среди них, безусловно, „звездой первой величины". Но как к нему „подъехать"? От В. В. Вейдле я знал, что года два или три назад в Венеции или Риме, уже не помню, по какому случаю, он около недели жил в том же отеле, что и Твардовский, и Твардовский отказался с ним знакомиться. Приблизительно то же самое сказал мне и Георгий Адамович: он встретился с Твардовским на одном приеме, познакомился с ним, они обменялись несколькими, принятыми в таких случаях банальностями, но ни разговора, ни знакомства (настоящего) не состоялось. Значит, надо было искать другие пути, готовить другую „артиллерию". Обо мне Твардовский знать не мог, к тому же, я работал в „Русской мысли" и при встрече не мог ему об этом не сказать. Иными словами, все мои карты были заранее битыми. А соблазн знакомства был велик.

И здесь пришло мне в голову собрать стишок из заголовков поэм Твардовского. С точностью уже не воспроизведу, что именно вышло, но начиналось приблизительно так: „Так это вы – „Страна Муравия”, / За болью боль, „За далью даль”, / „Василий Теркин” и так далее...” Куда-то втиснул его строку „Сто раз, судьба, тебе спасибо” и позвонил в отель „Кайре” (на бульваре Распай), где остановились поэты. Соединили:

– У телефона Твардовский. Кто спрашивает?

Я называю свою фамилию и выпаливаю: „Так это вы...” и затем все стихотворение подряд. В ответ слышу: „Алеша, подойди сюда” и: „Повторите, пожалуйста”. Я повторяю (потом узнал, что подходивший был Сурков). Когда Твардовский снова взял трубку, я сразу же спросил, могу ли я к нему зайти. Он проворчал что-то, потом сказал, что через день они все выступают в большом зале „Мютюалите”, „там и познакомимся”. Я ответил, что массовое знакомство – не знакомство, а Твардовский – это Твардовский, и „Новый мир” – это „Новый мир”. Словом, уговорил – „Завтра утром в 9 часов”.

Судьбе же – действительно, спасибо. Вернувшись из редакции, я нашел у консьержки присланный мне пакет. В нем оказалась двойная бутылка „Реми Мартен” (один из лучших французскиз коньяков). Кому пришла в голову эта гениальная идея, я до сих пор не знаю, но предназначение бутылке определилось сразу же („Теленка” тогда еще не было, и о слабостях Твардовского я ничего не знал). На следующий день в назначенный час я был в отеле. Вошел. Сразу передо мной оказалась большая столовая, где за столиками с утренним завтраком сидели обитатели отеля. Слышалась русская речь. Налево – зал-приемная с креслами и диваном. В креслах (по виду) – „наши”, на диване (сразу узнал) – Твардовский, немного грузный, нога на ногу, довольный. Представляюсь, он указывает на место рядом на диване. Сажусь и сразу же (иначе было невозможно):

– Я работаю в „Русской мысли”.

Твардовский спокойно:



Кириллу Дмитриевичу
[illegible] французу, русскому парижанину
от приезжего русского со всеми
добрыми пожеланиями.

20/IX 65 [illegible]

– Я уважаю открытых противников.

Я объясняю, что он, редактор „Нового мира", поэт Твардовский, никакой мне не противник. Мой противник и даже враг – коммунизм. Но это другое дело. Я действительно так считал и считаю; моя искренность как будто его убедила, и мне показалось, что он как-то оттаял. Заинтриговало меня то, что он знал, что я работаю в „Русской мысли". Почему-то не решился его спросить – откуда, хотя, конечно, узнать было довольно просто.

Решил сразу же приступить к „делу", развернул бутылку и сказал: „А это вам", объяснив ее происхождение. Твардовский просиял и познакомил меня с сидящими рядом: один оказался Леонидом Мартыновым, другой – Семеном Кирсановым. Стихи Мартынова я любил, о Кирсанове же услышал в первый раз. И вот тут подошел к нам среднего роста, среднего вида и „средне" одетый человек:

– Алексей Александрович Сурков. Кирилл Дмитриевич Померанцев.

Сурков протянул руку, я пожал руку и совсем тихо:

– „Бьется в тесной печурке огонь..." Мы ее пели во время войны в Лионе, где я участвовал в Сопротивлении.

Сурков улыбнулся и сел на диван по другую сторону от меня. Завязался разговор, кажется, о поэзии. Я сказал, что знаю Евтушенко и Вознесенского. При имени второго Твардовский поморщился. (Потом я узнал, что они расходились „по поэтической линии".) Сурков назвал Щипачева и других поэтов, которые писали о войне. Потом разговор перебросился на какую-то безликую тему. Врезалось впечатление: Твардовский держался просто, но его простота не выглядела естественной, чувствовалась внутренняя напряженность. Сурков же разговаривал, как старый знакомый, с казавшейся врожденной вежливостью и простотой. Я даже вспомнил Константинополь и первые годы эмиграции, когда у отца собирались его друзья, старые московские интеллигенты. Невольно подумалось: „Хитрая бестия!" А, впрочем, зачем я ему нужен? Прощаясь со мной, Твардовский вынул из нагрудного кармана авторучку и протянул мне:

– Вот вам на память. Я ею писал „Теркина на том свете”.

Я поблагодарил, и мы сговорились, что я приду завтра опять в 9 часов.

Ручка оказалась обыкновенным оранжевым „Пеликаном”, которую можно купить в любом парижском писчебумажном магазине, и я усомнился в ее „причастности” к „Теркину”. И через несколько дней подарил ее молодому энтузиасту, поклоннику знаменитого редактора.

На следующий день я, расхрабрившись, вырезал из журнала „Мосты” мои „Итальянские негативы” и дал Твардовскому: будь что будет! (В них я не очень льстил советской власти.) Но, к моему удивлению, он потом сказал мне, что „взахлеб” читал их всю ночь. (Здесь Александр Трифонович явно слукавил: на их прочтение хватило бы и двух часов.) Следующие свидания ничем не ознаменовались и с годами выветрились из памяти. Выступление в „Мютюалите” тоже ничем, кроме битком набитого зала и огромных люстр, не блистало, за исключением разве отличного и прекрасно прочитанного Арагоном отрывка из его перевода „Евгения Онегина”. Прочел же он его потому, что его жена – Эльза Триоле преподнесла Твардовскому (не знаю, лично или для музея Пушкина) первое полное издание сочинений великого поэта.

Узнав о моем знакомстве с Твардовским, мой большой друг Сергей Рафальский попросил меня пригласить его к нему на русский ужин, который будет состряпан его женой (великой поварихой). Я был уверен, что Твардовский откажет. Для советского человека – кем бы он ни был – в „городе-светоче” было несравненно больше приманок, чем ужин у каких-то эмигрантов. Кстати, Твардоского в холле не оказалось, и первый, с кем я столкнулся, был Сурков. Рассказав ему, в чем дело, я пригласил его. Он сразу же согласился, сказав, что собирается писать книгу о „русских в рассеянии”, порылся в записной книжке и объявил, что может поехать послезавтра. Уговорились, что заеду в 7 вечера. Рафальский, конечно, был разочарован, но на безрыбье...

Я признался Рафальскому, что струсил и что придется довольствоваться „раком”. Затем вышло так, что на следую-

– Вышло небольшое недоразумение...

Я перебил:

– Понимаю, вы заняты и не можете поехать. Ну, что ж – Париж...

– Да нет! Твардовский напрашивается...

Я растерялся. Все, что угодно, но т а к о г о я не ожидал. Обменялись каким-то вздором, Сурков сказал, что плохо себя чувствует и „не спал всю ночь".

Я созвонился с Рафальским, он обрадовался, и мы решили пригласить еще одну нашу хорошую знакомую, Евгению Николаевну Берг, преподавательницу русского языка в Школе восточных языков.

Чтобы было понятно дальнейшее – несколько слов о Рафальском. Знаком я был с ним и его женой уже лет двадцать. Это был один из замечательнейших людей, с которыми мне посчастливилось встретиться. Он был широко (а в некоторых областях – глубоко) образован. Крепко верил в „социализм с человеческим лицом", за это ненавидел Маркса так, как можно ненавидеть только лишь своего кровного врага, и считал марксизм насилием над человеком во всех областях его деятельности. До войны он три раза подавал прошение о возвращении в СССР, будучи уверенным, что там существует реальная возможность борьбы с коммунизмом. Ко всему этому добавлялся исключительный и в некотором смысле даже гениальный дар полемиста. Легко находил слабые места оппонента и почти всегда побеждал его своей несокрушимой логикой. Кончил он юридический факультет в Праге, был членом литературного кружка „Скит поэтов". Двухкомнатная квартирка Рафальского на четвертом этаже без лифта была более чем скромной. Жена его, тоже преподавательница русского языка, была превосходной хозяйкой, и дом Рафальских славился своим гостеприимством.

В 7 часов я был в „Кайре". Точность – вежливость королей: Твардовский и Сурков, уже одетые, ждали меня в холле. Я сказал им, что они – поэты, но и мы с Рафальским – тоже не новички в этом ремесле, вот и почитаем свои стихи.

Усадив их в мою сильно поношенную „Симку”, я попросил извинения за ее убого-пролетарскую внешность, высказав предположение, что у каждого из них – по их чину – как минимум, могучий „ЗИЛ” с шофером.

– Что вы? – запротестовал Твардовский, – если бы вы видели мою... (Думаю, что это было явным нарушением истины, но я ценил тактичность автора „Василия Теркина”, не хотевшего меня смущать.)

Так мы и отправились „читать стихи” к Рафальским. Твардовский был в новенькой дубленке, на четвертый этаж взбирался тяжеловато и вошел со сдержанной улыбкой. Сурков же поразил нас скромностью „туалета”: длиннополое, словно с чужого плеча, пальто, неуклюже сидящий затасканный синий костюм и что-то вроде французского берета на голове. (Потом я узнал, что в Москве у него одиннадцатикомнатная прекрасно обставленная квартира с прислугой.) Вошел он сияющим, как к старым знакомым, с ворохом подарков в руках: хозяйке какую-то деревянную утварь, мне и Рафальскому по бутылке „Российской”. Стол был на славу уставлен русскими блюдами домашнего производства, чего тут только не было – и студень, и рыбные изделия, и баклажанная икра, и другие spécialités de la maison и, конечно, соответствующие вина.

Началось, действительно, со стихов.

Уселись, выпили по рюмке-другой (хозяин и дамы не пили), обменялись трафаретными фразами (надо же ритуал соблюсти), затем Рафальский достал один из последних номеров „Нового мира” и прочел „понравившееся” ему стихотворение Евтушенко „Баллада о браконьерстве”, где председателю рыбной артели старая семга бросает такой упрек:

Но что-то своим уловом
ты хвалишься слишком речисто.
Правда, я только рыба,
но вижу – дело нечисто.
Правила честной ловли
разве тебе незнакомы?

В сетях ты заузил ячейки.
    Сети твои – незаконны!
И, ежели невозможно
    жить без сетей на свете,
то пусть тогда это будут
    хотя бы законные сети.
Старые рыбы впутались –
    выпутаться не могут,
но молодь запуталась тоже –
    зачем же ты губишь молодь?
Сделай ячейки пошире –
    так невозможно узко!..

И с этого началось. Но здесь я должен повторить то, что сказал вначале. Никаких записей я не делал. Разговор, точнее, спор продолжался больше трех часов, и я не могу воспроизвести его хронологию. В памяти остались лишь клочки замуровавшихся в ней фраз. К тому же бой происходил между Рафальским и „высокими гостями", дамы испуганно молчали, а я, чувствуя себя виноватым в том, что поэзия перевоплотилась в политику (ведь я же знал моего друга!), смог втиснуть лишь несколько примирительно-дурацких тирад, которые тут же растворились в дискуссионном дыму. И еще: в то время я еще плохо разбирался в „системе", и мне не могло прийти в голову, что Твардовский (которого я считал – и сказал ему об этом – если не самым лучшим, то, во всяком случае, самым знаменитым в мире редактором) тоже „нуждался" в „няньке", и такой „нянькой" был Сурков.

Итак, началось. Рафальский усмотрел в стихотворении не только протест против придирок советской цензуры, но, вообще – против всей системы: отсутствие элементарных свобод, права бесконтрольного передвижения, поездок за границу, читать, что хочешь, выписывать иностранные газеты и книги, полицейский надзор, превративший великую страну в великий концентрационный лагерь. Твардовский, конечно, яростно это отрицал, Рафальский не сдавался, приводил в пример уже тогда существовавшую литературу „Самизда-

та", и дело дошло даже до московских „показательных процессов" и хрущевских реабилитаций.

Не будь Суркова, Твардовский, пожалуй бы, и согласился относительно „рыбной молоди", во всяком случае: намек был слишком прозрачен. И тогда впервые я обратил внимание на его рот: тонкие, сжатые, немного вкось (правая часть ниже левой) губы. Они производили неприятное впечатление на приятном, и в общем добродушном, лице. Сурков спокойно его поддерживал (он вообще ни разу не повысил голоса), объясняя, что мы в Париже плохо знаем советскую поэзию и готовы чуть ли не в каждой строке видеть намеки и обличения. Разница между двумя гостями бросалась в глаза: один – защищался, другой – объяснял. Рафальский, как всегда, был спокойно учтив и железно логичен, что еще больше раздражало Твардовского. Он даже два раза пытался встать, чтобы уйти:

– Не забывайте, что коммунизм – моя религия...

И оба раза Сурков спокойно, как старший товарищ, принимался его увещевать:

– Что с тобой, Саша? Мы же не на партийном собрании, надо уважать чужие мнения. – И, чтоб разрядить обстановку, рассказывал какой-нибудь анекдот. Мы проглатывали очередную снедь, выпивали очередной стакан вина, пытались шутить, но через несколько минут политика вторгалась снова и начиналось очередное сражение. И вот во время одной из таких схваток, чтобы убедительней обосновать свою „разочарованную искренность", Рафальский, уставившись на Суркова, отчеканил:

– А знаете ли Вы, Алексей Александрович, что до войны я три раза просил визу в Советский Союз и три раза мне отказали?

– И правильно сделали, – улыбнулся Сурков. И тихо, отчеканивая каждое слово: – Вы бы у нас не прижились, и мы не имели бы сегодня удовольствия сидеть у вас.

Простые слова, но мне от них стало как-то не по себе. Не помог и очередной анекдот.

Рафальский согласился и тут же перешел в наступление, переведя разговор на съезды КПСС. Смысл же „наступления" был таков: как это может быть? – Генеральный секретарь читает свой доклад, а прения заключаются в том, что пять тысяч автоматов, как по команде, аплодируют, поднимают и опускают руки и хоть бы один рискнул возразить! Какой смысл в таких съездах и кому нужна такая показуха, в которую никто давно не верит! Даже при Сталине бывали случаи, когда люди возражали, рассказывали даже, что один из депутатов как-то заявил, что во время коллективизации „мы залили страну кровью!".

Снова протесты, снова „не забывайте...". На этот раз даже Сурков неуютно взглянул на Рафальского и на меня. Дамы (как они потом сказали) ожидали взрыва. Но Сергей Милиевич спокойно встал, подошел к шкафу с „архивами" (вырезками из газет и журналов, рукописями, письмами и т. п.), вынул из него какую-то бумажку (оказалось, вырезку из „Правды" или „Известий") с отчетом об очередном съезде КПСС (точно не помню каком) и торжественно положил ее перед Сурковым: красным карандашом была подчеркнута крамольная цитата.

Как ни странно, но после этой „демонстрации" страсти утихли, Сурков припомнил очередной анекдот, Твардовский, улыбнувшись, посмотрел на Рафальского и заметил, что Сталин был „не так прост, как обычно о нем думают – кровопийца, злодей..." Я сказал, что всегда „полезно поговорить 'до дна' с противником, которого уважаешь". Холодная война переходила в мирное сосуществование. Даже дамы повеселели. Сурков рассказал о трудностях, с которыми приходилось встречаться на фронте, где он был корреспондентом какой-то газеты.

Из его рассказа запомнилась такая деталь: получили приказ немедленно открыть огонь по немецким позициям, бросились к ящикам со снарядами, а в большинстве из них оказались... камни. Нас это поразило, даже не хотелось верить. (Как-то я рассказал об этом случае моему другу и коллеге В. Рыбакову, отбывавшему в СССР воинскую повин-

ность на китайской границе. Для него это было самым обычным делом: получен приказ отправить такой-то части столько-то ящиков снарядов, но снарядов не хватает, а приказ надо выполнить! Значит, вместо снарядов клади в ящики камни и отправляй. Приказ есть приказ. Иначе...)

Так прошло около получаса, и уже не помню, кто обо что споткнулся, но военные действия возобновились и снова на „незаживающую" тему о советском бессвободном режиме. На этот раз „свое суждение иметь" позволил себе и я. Когда уже не оставалось „чем крыть" и Твардовский начал подниматься, Сурков остановил его рукой и, в упор глядя мне в глаза, спросил:

– В конце концов, чего вы хотите? Гражданская война и сталинщина обошлись нам почти в двадцать пять миллионов жертв. Вторая мировая – во столько же. В России не осталось места, которое не было бы пропитано кровью. Неужели вы хотите революции и новых двадцати пяти миллионов?.. Вы же знаете, как нас ненавидят.

За последнее слово я не ручаюсь. Может быть, было сказано другое, менее резкое. Но такой врезалась мне в память последняя сурковская тирада, настолько она всех нас огорошила. Здесь даже Рафальский спасовал: да, мы хотим падения режима, но не такой ценой!

Время приближалось к половине двенадцатого, и „высокие гости" начали собираться. На лестнице я шел около Твардовского, и он, наклонившись ко мне, тихо (чтобы не слышал Сурков) попросил достать ему „Новый класс" Джиласа и „Встречи с Лениным" Валентинова, сказав, что ни в одном русском книжном магазине купить их не смог. Это было, конечно, не так. „Новый класс" можно было купить где угодно. Валентинова в продаже, действительно, уже не было. Александру Трифоновичу, в его „чине", было просто неудобно спрашивать „крамольные книги" в русских эмигрантских магазинах. У меня же они были, только не хотелось расставаться со „Встречами": они были с нежной надписью покойного автора. Но Твардовскому я обещал принести обе. Условились на послезавтра в восемь часов утра. В одиннадцать поэты должны были быть на аэродроме.

Послезавтра в восемь часов я постучался в номер Твардовского. В комнате было полутемно (только начинало светать, а лампа почему-то не горела). Знаменитый редактор сидел на кровати и, нагнувшись, завязывал шнурки на ботинках. При моем появлении он даже не встал и сразу набросился на меня: я, де, устроил чуть ли не провокационную встречу „Нового мира" с „Русской мыслью" (кстати, Рафальский в то время в „Р. М." не работал), разболтал всему Парижу то, что говорилось „в интимной обстановке", и поставил его и Суркова „в неприятное положение".

Я был ошарашен. Никому, кроме тогдашнего главного редактора „Р. М." Водова, о встрече я не рассказывал, был совершенно уверен, что не рассказывал и Рафальский. Приблизительно так я и сказал Александру Трифоновичу, и, кажется, убедил его. Затем я передал ему обещанные книги. Он подошел к столу, взял с него кипу книг (издания всех его произведений) и торжественно вручил их мне. Потом уложил Джиласа в чемодан и перед окном стал просматривать „Встречи". В это время в комнату без стука вошел Сурков. Твардовский буквально спал с лица: сделал что-то вроде пируэта, очертил в воздухе раскрытой книгой круг и, деланно улыбнувшись, – Суркову:

– А знаешь, Алеша, вот прочту Валентинова и еще больше полюблю Владимира Ильича!

Я не знал, куда деваться.

Затем, быстро переменив тему:

– Кирилл Дмитриевич говорит, что никому ничего не рассказывал, кроме Водова, и еще раз дал слово, что все останется между нами.

Инцидент был исчерпан. Но, может быть, это была лишь инсценировка?

В холле я встретил Б. Слуцкого. Я знал его стихи и познакомился с ним в „Кайре". Он пригласил меня в бар. Мы выпили по чашке кофе и минут пятнадцать поговорили. Я сказал, что особенно люблю его „Лошадей в океане". Он пожал плечами и признался: „У нас хорошие стихи не печатают и на открытых вечерах их не читают. Хорошие стихи лежат

в ящиках столов. Приезжайте в Москву, приходите ко мне, я вам почитаю „хорошие стихи". Потом вынул из нагрудного кармана авторучку черную, грубую, но наверняка „настоящую", и, передав мне, сказал: „Возьмите на память". Я ее бережно храню. Бедный, милый Борис Абрамович. Вскоре он заболел какой-то психической болезнью...

„Горек жребий русского поэта".

Месяца через два я дал одной моей французской приятельнице книгу стихов Суркова с его дарственной надписью. Она работала на заводе „Рено", где в отделе приема кадров по почеркам определяла характеры, а дирекция решала, кого принимать на работу, а кого – нет. Она только взглянула на надпись и ахнула (почерк, действительно, был странный: буквы поломанные, неуверенные, словно больные) – „Первый раз вижу такой страшный почерк. Этот человек вывернул себя наизнанку и служит делу, в которое не верит. Он наверняка не спит по ночам". Замечу, что она не только не знала Суркова, но никогда о нем не слышала, как, наверное, и о Твардовском. Да и по-русски не говорила.

Года через полтора, очутившись по каким-то делам в центре Парижа, я чуть ли не нос к носу столкнулся с Сурковым (он приезжал на какой-то коллоквиум или съезд). Сразу узнали друг друга и обнялись, как старые друзья.

– Если бы вы только знали, как мы с Александром Трифоновичем вспоминаем вечер у вашего друга (фамилию он позабыл). Да, это действительно был „настоящий вечер" и „настоящий разговор", „до дна", как говорил Розанов. Прямо скажу и за него, и за себя: это был единственный случай, когда удалось так замечательно поговорить не только с настоящими противниками, но и с настоящими людьми. И еще раз скажу: пусть ваш приятель благодарит судьбу, что его не пустили в Союз, там бы его сразу вывели в расход. А полемист он блестящий...

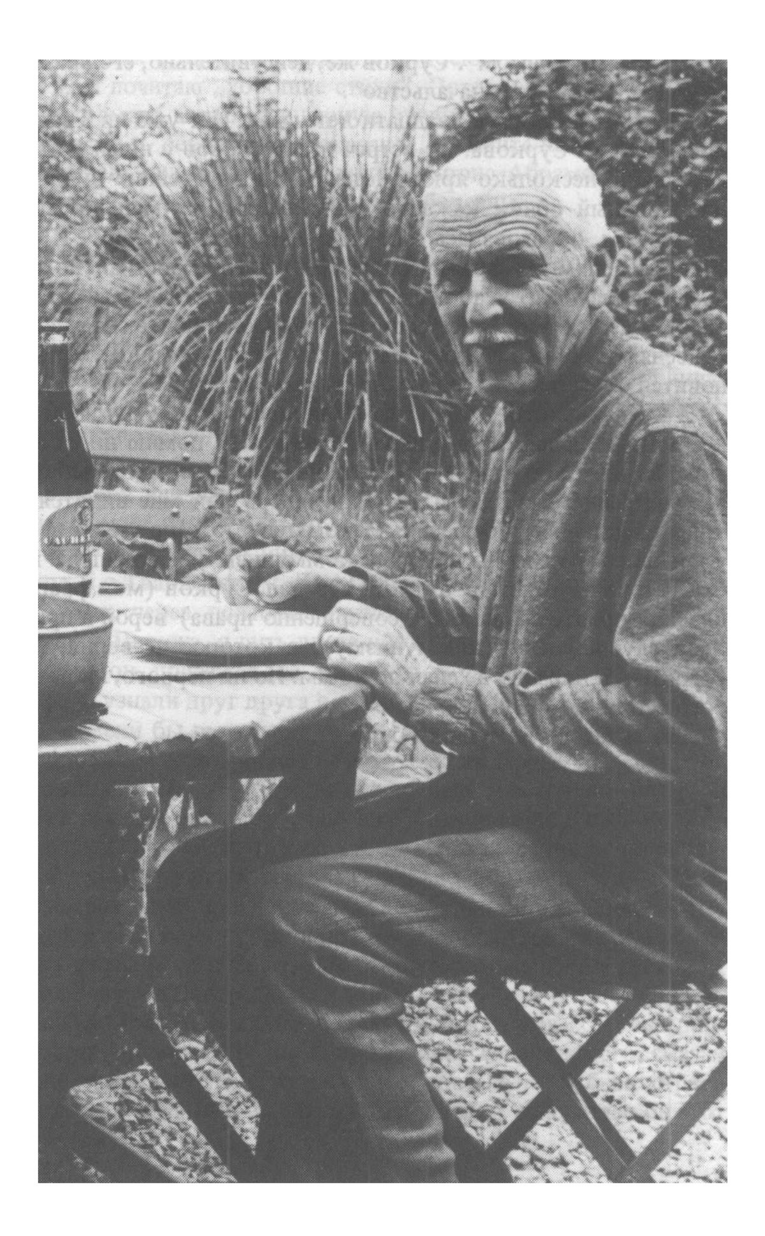
Уже совсем недавно приехавший для каких-то закупок советский инженер, хорошо знавший Твардовского, сказал мне приблизительно то же самое: сначала тому было страшновато и неуютно, но потом обошлось, и вспоминал он этот

вечер „с энтузиазмом". Сурков же, действительно, его сразу смущал: как-никак „начальство".

Все это было более двадцати лет назад. Нет уже ни Твардовского, ни Суркова. От встреч и разговоров с ними остались лишь несколько ярких деталей. Но внутренний духовно-душевный облик каждого из них стал для меня более ощутимым, образовалась как бы связь „через смерть". И я еще раз вспомнил французского философа (христианского экзистенциалиста) Габриэля Марселя, утверждавшего, что „настоящее присутствие человека начинается после смерти". Телесная оболочка спадает, и контакт с душой усопшего становится более тесным, более ощутимым.

И Твардовского, и Суркова я ощущаю как двух глубоко несчастных людей. За все наши встречи я не помню ни у одного из них хоть минутной откровенно радостной улыбки или искреннего смеха. И вот как теперь они мне видятся: Твардовский был убежденным коммунистом, но видел все уродливые формы, в которые коммунизм „выродился" в СССР, и по-настоящему от этого страдал. Сурков (моя французская приятельница была совершенно права) верой и правдой служил делу (коммунизму), в которое не верил, и, вероятно, и вправду не спал по ночам. Но ни первого, ни второго судить не могу, да и не хочу.

„Не судите да не судимы будете".



## КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ФОН РОЗЕНШИЛЬД-ПАУЛИН

Хочу закончить мои воспоминания, мои встречи „сквозь смерть" рассказом об одном моем хорошем знакомом. Не друге, а именно о хорошем знакомом. Друг – это человек, с которым имеешь нечто общее: иногда это общие юношеские похождения, порою даже связанные с ревностью. (Был у меня один такой приятель М. О. Оба мы волочились за одной и той же прелестницей, он – победоносно, я – катастрофично. Ревновал я его дико, но как-то все уладилось, и, поверх ревности, нас сдружил, и сдружил железно, велосипед.) У друзей – общая работа, общая юность (или детство), общие интересы, зачастую и общие горести.

Ничего подобного в моих отношениях с Константином Николаевичем фон Розеншильд-Паулином не было. Был он насквозь военным человеком, я же – типичным „шпаком". Он родился намного раньше меня, в 1894 году, и умер в 1980-ом. В России был офицером, эмигрировал из Севастополя в чине ротмистра Изюмского гусарского полка, за гра-

ницей стал рядовым эмигрантом. Таким, какими были, да и продолжают быть сотни тысяч русских изгнанников. То, что меня в нем привлекало, а теперь „сквозь смерть", стало особенно ясным, это то, что Константин Николаевич был праведником.

Праведник же, по глубокому моему убеждению, – это такой человек, который живет так, как считает нужным жить, как велит ему совесть. Скажу сразу же: для меня это недостижимый подвиг. Я никогда – с тех пор как научился думать и начал различать плохое и хорошее – не мог полностью следовать за тем, что считал хорошим. Умышленно зла не делал, добро – сколько мог и как мог. Но жить хорошо, то есть праведно, не мог никогда, и думаю, что и в моем окружении таких было мало. Хороших и очень хороших людей – сколько угодно, а праведников – лишь один: ротмистр Изюмского гусарского полка Константин Николаевич фон Розеншильд-Паулин.

Познакомился я с ним через его сына Нику и дочь Женю, которые, как и я, ездили летом в молодежный летний лагерь „Национальной организации российских разведчиков". Устраивал их полковник П. Н. Богданович в местечке Капбретон в километрах тридцати от Биаррица. Там я подружился с Женей и с Никой, и К. Н. пригласил меня приехать к ним на Рождество в Орейан (ближайшая окрестность „столицы" Пиренеев – Тарба). В то время К. Н. с женой Татьяной Петровной продавал на местных базарах мужское и женское белье... Ездили они на базары на каком-то древнем автомобиле с прицепкой, в которой помещался предназначавшийся для продажи товар.

До Орейана К. Н. и Т. П. прошли настоящую эмигрантскую Голгофу, начавшуюся с Галлиполи (возле Дарданелл), а затем через Албанию, Сербию (Дубровник) приведшую в Тарб. К. Н. с группой однополчан и казаков по контракту нанялся работать на машиностроительный завод, где и „вкалывал" три года. Но дело даже не в работе и не в том, что было до Орейана: не только семье Розеншильд-Паулинов пришлось пройти через все трудности и унижения эмигрант-

ской жизни. И если даже не всякому выпало их испытать, представить их себе может всякий.

Константин Николаевич обладал двойным единством. Не придумаю другого термина: на базаре он был настоящим торговцем. Торговцем барахлом. Но, возвращаясь домой, уходя отдыхать или почитать в свою комнату, он становился царским ротмистром, словно не было ни революции, ни захвата власти большевиками, ни эмиграции, ни базаров. Его комната-кабинет была увешана фотографиями царской семьи, однополчан-офицеров, предков в мундирах и орденах с их супругами в „тальях, стянутых корсетами" и в широкополых шляпах с „траурными перьями". Здесь же хранилась боевая шашка и погоны, у изголовья дивана-постели часы „Павел Буре". Словом, музей. Вечером, когда семья, а иногда и несколько друзей, садились ужинать, начинался разговор. Он велся в рамках бонтона, не только без бранных слов – не допускались, сколько-нибудь фривольные темы.

И К. Н. и Т. П. любили поэзию, но поэзию, приличествующую их семейным традициям и вкусам. Конечно, Пушкина и Лермонтова, само собой – Апухтина, Алексея Толстого, Игоря Северянина, из „новых" – Ахматову и Блока. Стихи любил и я, но немного в более расширенном „веере", и уж не помню, по какому случаю, решил прочесть „Раба" Брюсова, где была такая строфа:

И было все на бред похоже,
Я был свидетель чар ночных,
Всего, что тайно кроет ложе,
Их содроганий, стонов их.

К. Н. был искренне возмущен: никак подобного от меня он не ожидал. При молодой девушке такие стихи! (А „молодой девушке" было не то 17, не то 18 лет!) При дамах в приличном обществе такого не читают. Я смутился и недоумевал: у „нас" в Париже и не такое читают, и при таких же девушках, как и Женя.

После нескольких лет „базарной эпопеи” (или, точнее, своего особенного общения с людьми, своей открытости к ним) изюмский гусар Константин Николаевич фон Розеншильд-Паулин, оставаясь „до мозга костей” старым русским офицером, стал в Тарбе совершенно „своим”. Его одинаково уважали как местные власти (префект, мэр, жандармский полковник), так и простой люд – крестьяне, рабочие и прочий „пролетариат”. С кем-то из них он занимался русским языком, кому-то писал письма с указаниями неполадок или недостатков в уличном движении. Он писал о том, что на каком-то перекрестке есть канавка, в которую при повороте регулярно попадало заднее колесо прицепки с его базарным барахлом, или о том, что (на другом перекрестке) не в меру разросшиеся кусты мешают проезжающим автомобилям. Все эти „жалобы” писались почтительно, но деловито, и с такой же деловитостью обсуждались в соответствующих инстанциях.

В Тарбе, в единственном во Франции гусарском музее, почти во всю стену красуется витрина с надписью: „Даровано ротмистром фон Розеншильд-Паулином”. Там выставлены походная гусарская форма (с простреленной сзади шинелью) К. Н., парадная гусарская полковничья форма того же полка и какие-то еще военные мелочи. Как все это удалось вывезти из России и довезти до Тарба, сквозь почти двадцатилетние странствия и мытарства, – не знаю: не пришло на ум спросить. Но и они – „вещественные доказательства” несгибаемости К. Н. и его верности своей „правде”.

Раз в полгода К. Н. издавал бюллетень – „Жизнь земских гусар”. Он писал его от руки и посылал мне в Париж для размножения на пишущей машинке. Сначала в 20-ти экземплярах, затем в 15-ти, потом в 10-ти и так – до 5-ти... следуя течению державинской „реки времен”. Все же моя машинка, работая в такт времени, „простучала” лет десять, а, может быть, и больше. О чем писалось в бюллетене? Обо всем, что еще теплилось в душах изюмских изгнанников: „полковые собрания”, юбилеи, болезни, смерти... Никому из посторонних не нужное, но драгоценное для продолжающих еще биться нескольких сердец.

Эта сторона жизни Константина Николаевича была не только трогательна, но в некотором смысле даже героична: разве не геройство – хранить свято и трудно то, что считаешь святым?

О годах, проведенных на войне, К. Н. рассказывать любил, но никогда не выдвигая себя, не „выпячивая" своих заслуг, а таковые были, и о них свидетельствовали его полковые товарищи: он мог иметь Георгиевский крест, но из-за скромности получил лишь „Владимира с мечами". (Во всяком случае, так в одном из своих очерков в „Часовом" писал В. В. Орехов.) Слушая его „военные рассказы", я всегда вспоминал двустишье моего друга поэта Александра Гингера:

Не солдат, кто других убивает,
Но солдат, кто другими убит.

Эта военная скромность чудесным образом входила в его „двойное единство", образовывавшее оригинальную целостность его личности. И здесь характерны два „инцидента". Как-то приезжал в Тарб кн. Ф. Юсупов, и Константину Николаевичу передали, что он хотел бы с ним встретиться. К. Н. наотрез отказался. Второй (тоже в Тарбе): зашел к нему приехавший из Германии епископ „синодальной" Церкви (имени не помню), с которым К. Н. по разным принципиальным вопросам не соглашался. Константин Николаевич вежливо принял его в саду, но в свой „кабинет-музей" не допустил.

И вот, все же... самым замечательным свойством, в лучшем смысле слова, этого барина-офицера являлось его отношение к простым людям, его „клиентам" на базаре или соседям по кварталу. Надо было только слышать, как он с ними разговаривал, как расспрашивал об их нуждах и заботах, радостях и горестях. Так, будто всю жизнь прожил с ними, словно все они были членами его многочисленной семьи. Передать, то есть пересказать – совершенно невозможно,

потому что дело не только в словах и фразах, но в интонации, внимательной сосредоточенности, улыбке: и о чем бы ни шла речь – о свадьбе сына или дочери, о болезни сестры или брата, об урожае кукурузы или о только что родившихся поросятах.

То же самое повторялось по вечерам перед ужином, когда со своим „верным" Бураном – могучим, но добродушным „волком" – К. Н. обходил свой квартал, останавливаясь перед заборчиком каждого домика, чтобы осведомиться, как и что там нового – не родила ли Иветт, не начал ли уже ходить годовалый Жанно...

Обход длился минут двадцать, и, казалось, что вместе с ним идет всепримиряющая тишина.

Взошла луна. В сиянии ночном
Безмолвна необъятность океана,
Как будто благодатная нирвана
Сошла на мир с его ненужным злом,

Как будто мир блаженно почивает,
Не ведая, что сам в себе таит.
Так человек: он то – что он скрывает,
О чем он никогда не говорит.

# ОГЛАВЛЕНИЕ